



Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře, udělené roku 2009 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Rozvojového programu č. 7 projektu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: *Program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia.*

Adresa, na níž je možno časopis objednat:

Prodejna VUP  
Biskupské náměstí 1  
771 11 Olomouc  
e-mail: prodejna.vup@upol.cz

**ROSSICA OLOMUCENSIA – Vol. XLVIII**  
**Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. 2**  
**Olomouc 2009**

**STUDIE – ARTICLES – СТАТЬИ**

Николай Федорович Алефиренко – Людмила Степанова: Когнитивные аспекты лингвокультурологии .....	105
Дана Балакова – Вера Ковачова: Чешско-русское и словацко-русское фразеологическое взаимопонимание и непонимание .....	115
VOŽENA VEDNAŘÍKOVÁ: Tzv. transpozice aneb Jak se dostat z „dokulilovských sítí“ .....	121
Йозеф Догнал: Ценностная ориентация в русской литературе на рубеже XIX – XX веков: тяготение к сингулярности .....	127
Гелена Флидрова: К глагольному предикату с фазовыми модификаторами в русском языке в сопоставлении с чешским .....	133
Елена Ивановна Коряковцева: Nomina abstracta с интернациональными формантами в русском, польском и чешском языках: особенности морфемизации .....	139
Ольга Станиславовна Марченко: Словотворчество в Рунете как способ тестирования языка на словообразовательную продуктивность и лексическую лакунарность .....	145
Елена Маркасова: Маркеры искренности в языке повседневности (признаться сказать, говоря по совести, по чести говоря, честно говоря) .....	149
Лидия Мазур-Межва: О взаимодействии творческих личностей автора и переводчика художественного текста .....	157
Тамара Александровна Милютина: О проблеме переводимости/непереводимости с позиций учебного перевода .....	161
Алина Орловска: Типология и семантика фантастического в <i>Пестрых сказках</i> В. Одовского .....	167
Алексей Подчиненов – Джозефина Лундبلاد: Ф. М. Достоевский и В. Т. Шаламов: художественная трансформация быто-бытийных реалий .....	171
Людмила Владимировна Столбовая: Этноязыковое кодирование смысла в семантике русской и английской идиоматики .....	177
Зденька Выходилова: Проблематика переводимости в истории российского переводоведения .....	181
Алла Владимировна Злочевская: Фаустовская тема в трагическом фарсе М. П. Арцыбашева «Дьявол» .....	191

**RECENZE – REVIEWS – РЕЦЕНЗИИ**

JINDŘIŠKA KAPITÁNOVÁ: Eva Maria Hrdinová, Vítězslav Vilímek a kol.: Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe?! .....	197
Pokyny pro autory .....	199



НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ АЛЕФИРЕНКО – ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВА

*Россия, Белгород – Чехия, Оломоуц*

## **КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ<sup>1</sup>**

### **АБСТРАКТ:**

The paper gives grounds for methods of modern cognitive linguistics and definitions of its main terms: concept, discourse, ethno-linguistics, value, picture of world, conceptual and ethno-linguistic picture of world, language and culture etc. The specific features of linguistic picture of the world are analyzed. The authors differentiate the global picture of the world and ethno-linguistic picture of world. The authors also differentiate the terms *language* and *culture* and describe their differences.

### **KEY WORDS:**

Cognitive linguistics – culturology – concept – discourse – ethno-linguistics – value – picture of world – conceptual and ethno-linguistic picture of world – language and culture.

Для успешного становления лингвокогнитивной культурологии важно ответить на вопрос о том, чем должны или не должны заниматься лингвисты в отличие от специалистов в области когнитивной психологии. При этом следует помнить, что даже в недалеком прошлом российской и европейской науки не было четкой дифференциации их предмета. Поэтому нет ничего удивительного, что когнитивно-семиологическая теория лингвокультуры опирается, в частности, на деятельностьную концепцию Л. С. Выготского. Ее фундаментальные положения позволяют выделить следующие основные для когнитивно-семиологической теории векторы взаимоотношения личности, знака и культуры:

1. Культурно-исторический генезис человеческой психики обусловлен средой. Следовательно, когнитивные процессы находятся в известной корреляции с лингвокультурной средой.

2. Культурный знак как производный феномен генезиса человеческой психики является важной составляющей структуры социальной личности, этно-

---

<sup>1</sup> Работа выполнена в рамках исследовательского проекта по государственному контракту № 02.740.11.503

культурную сущность которой определяют интериоризованные в ней социально значимые ценностно-смысловые отношения.

3. Вместе с культурным знаком в процессе социализации личности человека и формирования его сознания возникает феномен значения. Значение выступает формой существования сознания. Оно может быть представлено как значение слова и как значение предмета. С одной стороны, значение – основное свойство знака, а с другой – конституирующий элемент сознания.

4. Значение есть динамическое обобщение знаний, связанных своими корнями с предметно-чувственным (культурно-историческим) опытом. С точки зрения когнитивной семантики, сущность семантического развития слова заключается в изменении внутренней структуры обобщения, обусловленной изменениями в ценностно-смысловой парадигме данного этнокультурного сообщества.

5. Главная функция значения – смыслообразование. Смысл – это содержание не закрепленного за знаком значения. Именно смыслообразующие возможности значений приводят к смысловому структурированию самого сознания. В этой связи целесообразно вспомнить афористическое суждение А. А. Потебни: «... Язык мыслим только как средство [...], видоизменяющее создание мысли; [...] его невозможно было бы понять как выражение готовой мысли» [Потебня 1999: 307].

6. Предметное значение генетически связано с языковым значением. Вербальное значение первично, предметное – вторично.

7. Чтобы быть знаком вещи, слово должно иметь опору в свойствах обозначаемого объекта. В дискурсивной деятельности человека значение освобождается от власти конкретного предмета как элемента ситуации.

8. Благодаря знаку возникает опосредованная форма владения культурно значимым предметом.

9. В культурно-историческом генезисе человеческой психики вещь постепенно замещается значением слова, в результате чего ее значение отрывается от реальной вещи и возникает новое явление – смысловое пространство.

10. Слово биполярно: в дискурсе оно интегрирует словесное и предметное значения.

Когнитивная лингвистика создавалась не с чистого листа, ее возникновению предшествовала огромная подготовительная работа, особенно плодотворная в XIX веке (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, А. А. Потебня и др.), когда взаимоотношения языка и мысли находились в эпицентре научного поиска. В современном виде когнитивная лингвистика, разумеется, отличается от традиционной менталингвистики и своей методологией, и категориально-понятийным аппаратом. Однако ее специфика – не в утверждении нового предмета изучения или необычного поискового алгоритма. Ее отличительная черта обуславливается некоторым методологическим сдвигом и заключается в новых эвристических программах. Это связано с общелингвистическим ин-

тересом к имплицитным, недоступным непосредственному наблюдению явлениям, к их теоретическому и гипотетическому моделированию.<sup>2</sup>

Главным условием возникновения когнитивно-семиологической теории слова стало устранение структуралистских ограничений в исследованиях влияния экстралингвистических факторов на формирование семантической структуры слова. Стало приемлемым несовместимое со структурализмом положение о том, что языковые факты могут быть хотя бы отчасти объяснены фактами неязыковой природы, притом не обязательно наблюдаемыми. Такими явлениями экстралингвистического характера, подлежащими гипотетическому моделированию, в когнитивной лингвистике стали следующие когнитивные структуры: а) фрейм М. Минского (в лингвистике эта структура получила «постоянную прописку» благодаря работам Ч. Филлмора); б) идеализированная когнитивная модель Дж. Лакоффа; в) ментальные пространства Ж. Фоконье и т.д. Однако всё это недоступные непосредственному наблюдению феномены. Эксплицируются они только в процессе исследования *речевой* деятельности.

Переосмысления требует прежде всего один из основных постулатов пост-сопюржовской лингвистики о системности языка. Каждый язык представляет собой не только и не столько статическую систему, фиксирующую результаты отражения внешнего мира в качестве его адекватной семантической модели, сколько систему функционально-коммуникативную. Ведь даже в системном своем состоянии язык представляет собой функционирующую систему. И в этом плане он является не только структурно-системным, но (и это важнейшая его ипостась) динамическим когнитивно-семиологическим образованием.<sup>3</sup> Все это предполагает поиск такого методологического принципа когнитивно-культурологического исследования, который бы адекватно воспроизводил диалектически сложную природу языка как деятельностной системы. Базовыми категориями в данном исследовании являются «когниция», «когнитивная структура», «концепт» и «дискурс».

**Когниция** – термин, заимствованный из англоязычной лингвистики. По своему содержанию он лишь частично соответствует русскому термину *познание*, поскольку кроме одноименного понятия включает еще и знание. Термин *когниция*, таким образом, означает и 1) сам познавательный процесс (причем обыденный процесс получения информации, знаний, их категоризации,

<sup>2</sup> Так, В. М. Мокиенко на конференции, посвященной фразеологии и когнитивистике (Белгород 2008) напомнил, что корни когнитивистики можно найти еще в средневековой Европе и сам термин «картина мира» восходит, вероятно, к дидактической системе Яна Амоса Коменского, описанной в его книге „Svět v obrazech“ (1658 г.), но одновременно подчеркнул, что каждый новый подход требует и переосмысления старой терминологии, и создания новой. В этом когнитивистика достигла больших успехов [Мокиенко 2008: 14–15].

<sup>3</sup> Мир непрерывно изменяется и вместе с тем изменяется его отражение в языке. Сопоставление картины мира периодов, даже не столь отдаленных друг от друга по времени, показывает разительные отличия. Так, анализируя с этой точки зрения словарь М. И. Михельсона, мы отметили утрату целого ряда элементов картины мира XX века, отраженных во фразеологии. Ушли в прошлое фразеологизмы, отражающие разные моменты жизни чиновников, обороты, связанные с карточными играми, курением и нюханием табака, с телесными наказаниями, с элементами церковной жизни и другими признаками того времени (см. [Степанова 2007: 75–81]).

концептуализации и преобразования, запоминания, извлечения из памяти, использования в речемыслительной деятельности), и 2) результаты этого процесса – знания (ср.: [Болдырев 2002: 9]). В когнициии многие психические процессы протекают в синергетическом взаимодействии, т. е. восприятие, понимание, интерпретация, воображение и речь «работают» здесь в органическом единстве.

**Когнитивная структура** – это способ представления знаний, их своеобразная упаковка в нашем сознании. Таковыми являются представление, образ, концепт, гештальт, фрейм и др.

**Концепт** – особым способом структурированное содержание акта сознания, воплощение в содержательной форме образа познаваемого предмета. Это своего рода энграмма (осадок в памяти) мысленно сформулированного содержания, коллективный архетип культуры и в этом своем существовании служит оперативной единицей мышления (Е. С. Кубрякова). Существует мнение, что концепт – понятие инвариантное, которое реализуется в таких своих разновидностях, как гештальт, фрейм, сценарий и в некоторых других когнитивных структурах.

**Дискурс** – сложное когнитивно-коммуникативное явление, в состав которого входит не только сам текст, но и различные экстралингвистические факторы (знание мира, мнения, ценностные установки), играющие важную роль в понимании и восприятии информации. Чаще всего выделяют два основных направления в лингвокогнитивном исследовании дискурса: а) структуры представления знаний и б) способы его концептуальной организации.

Категориальная сущность дискурса достаточно репрезентативно раскрывается уже одним перечислением таких его элементарных составляющих, как излагаемые события, участники этих событий, перформативная информация и «несобытия», т.е. обстоятельства, сопровождающие события, фон и ценностно-смысловые оценки участников события и т.п. Ценностно-смысловые отношения между концептуальными элементами дискурса вводят когнитивно-дискурсивные исследования в сферу лингвокультурологии.

Представленные определения позволяют рассматривать данные категории не только как системные образования. Будучи речемыслительными категориями, они являются функциональными и динамическими составляющими лингвокультуры, что свидетельствует об их бинарности. С одной стороны, они, несомненно, относятся к сфере когнитивной семантики, а с другой – к семантике контекстуально-функциональной, составляющей предмет семиологии.

Существует убедительная точка зрения, согласно которой язык и дискурс нераздельны. Вместе с тем, на начальном этапе возникновения различие этих понятий, восходящее к Соссюру (в виде пары «язык – речь»), является достаточно целесообразным, оно дало импульс развитию семиологии как научной дисциплины. Однако здесь важно отмежеваться от соссюровского понимания семиологии как науки о знаках вообще. Ученый писал: «... можно представить себе науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества, [...] мы назвали бы ее семиологией (от греч. *semeion* – знак). Она должна открыть нам, что

такое знаки, и какими законами они управляются [...] Лингвистика – это только часть этой общей науки» [Соссюр 1977: 54]. Как видим, у Соссюра семиология – синоним семиотики. Мы же данный предмет изучения оставляем за семиотикой (наукой о знаках, как определил ее основоположник – Ч. У. Моррис), а семиологией называем тот раздел лингвистики, который изучает закономерности использования языковых знаков в речи и – шире – в дискурсивной деятельности человека. При этом важно подчеркнуть, что дискурсивная деятельность может осуществляться только благодаря сложнейшему механизму взаимодействия языка и речи.

Действительно, дискурсивное пространство определенным образом регламентировано и находится во взаимодействии с системой языка: язык перетекает в дискурс, дискурс – обратно в язык. По образному выражению А.Ж. Греймаса, они как бы держатся друг под другом, словно ладони при игре в жгуты [Греймас 2004: 78]. Ученый полагает, что разграничение языка и дискурса является промежуточной операцией, от которой в конечном счете надлежит отречься. Семиологии суждено было бы стать работой по собиранию побочных, ценностно-смысловых продуктов языковой деятельности – продуктов, которые суть не что иное, как желания, страхи, гримасы, угрозы, посулы, ласки, мелодии, досады и извинения в их этнокультурологическом ракурсе, из которых и складывается язык в действии, или дискурсивная деятельность. Не будем отрицать, что подобное определение страдает сугубо личностным восприятием языка в действии. Однако в нем сконцентрирована ценностно-смысловая суть взаимоотношения языка, дискурса и когниции.

Представление лингвокультуры в ценностно-смысловом пространстве языка – методологическая доминанта лингвокультурологии. Вне таких категорий, как ценности, оценки и смысл, рассматривать проблемы лингвокультурологии невозможно. Это аксиома.

Обычно ценности понимаются как сформированные представления, значения некоего объекта для субъекта (см.: [Чернявская 2005: 225]). При таком подходе ценность оказывается разновидностью значения. Для корректного применения понятия **ценности** в лингвокультурологии особую актуальность приобретают работы С. Н. Виноградова. Он определяет ценность как «идеальное образование, представляющее собой важность (значимость, значительность) предметов и явлений реальной действительности для общества и индивида и выраженное в различных проявлениях деятельности людей» [Виноградов 2007: 93].

**Выраженность ценности**, возможность ее физического проявления обнаруживает ее объективную сущность. Разновидностью выраженности является языковая выраженность – языковое и речевое воплощение представлений людей о ценностях, словесные модели ценности, создаваемые носителем языка [Там же]. Простейшим примером выраженности ценностей являются такие их названия, как добро, правда, справедливость, свобода, красота и т.д.

Ценности иерархически организованы (в каждой лингвокультуре существует своя шкала ценностей); они носят исторический характер (ценности могут

меняться), играют исключительно важную роль в синергетике (самоорганизации) лингвокультуры. Вместе с тем они достаточно стабильны. Только формирование, осознание и принятие новой системы ценностей позволит окончательно преодолеть кризисные явления в культуре.

Ценность всегда связана с оценкой, понимаемой широко – как определение полезности, целесообразности, уместности чего-либо и т.д., т.е. как размещение явления или факта на шкале «хорошо – плохо», как положительное или отрицательное отношение к чему-либо.<sup>4</sup>

**Оценка** – форма существования ценностей. Оценка может быть а) эмоционально-чувственной, если выражается единичной эмоцией или комплексом эмоций (в виде восхищения или негодования, стремления или отвержения, любви или ненависти); б) рационально-вербальной, если дается оценка значимости объекта (в рецензиях, высказываниях, критических статьях, экспертных заключениях и т.д.); в) прагматически-поведенческой (в форме реального действия или поведения). Для лингвокультурологии самыми важными являются оценки, выраженные словесно. Наиболее зримо ценность и оценка связаны с такими языковыми явлениями, как семантика, языковые и речевые средства выражения значения, парадигматические отношения, обусловливаемые закономерностями варьирования и выбора номинативных единиц (семантико-стилистическая синонимия, вариантность лексических и фразеологических единиц и т.п.).<sup>5</sup>

Итак, ценность и оценка как разновидности идеального существуют объективно, независимо от нашего сознания. Они связаны с выбором языковых средств, способов речемыслительной деятельности. Выбор – культурологически важная сфера деятельности людей или, по крайней мере, необходимая составная часть лингвокультуры. Таким образом, ценность, как и культура в целом, связана с деятельностью, выполняет в ее механизме конструктивную роль. Действительно, человек всегда к чему-либо стремится, чего-то избегает. При этом он оценивает и окружающих людей, и жизненные обстоятельства, и собственное поведение и на основе этой оценки действует. Поддерживая тезис о том, что ценности существуют объективно, независимо от нас, исследователь заостряет внимание на том, что они – не сами предметы и явления окружающего мира, а метонимически перенесенные на них их ингерентные, или окказиональные, свойства и признаки. Если предмет получает свое знакообо-

<sup>4</sup> Учет возможности иной оценки какого-л. предмета, явления и т.д. у иного народа составляет основу предотвращения коммуникативного шока при межкультурном общении: в русском выражении *топает как слон* слон – символ неуклюжести, однако у народов Индии слон – грациозное животное; зеленые глаза для русских – загадочные и романтические, для англичан они – символ зависти, ревности; опоздание в гости в Германии – нарушение этикета, небольшое опоздание в гости в России считается проявлением уважения к хозяевам и т.д.

<sup>5</sup> Ср., напр., синонимические ряды: **животное**: *бессловесное создание (животное); братья [наши] меньшие*. Публ.; *бессловесная тварь*. Прост. устар.; *бессловесная скотина*. Прост.; **бояться**: *кровь стынет / застыла (леденеет / заледенела, холодеет) [в жилах] у кого*. Книжн.; *душа уходит/ушла в пятки у кого; дрожать (трястись) как осиновый лист; обливаться холодным потом; труса праздновать*. Шутл.; *дрожать (трястись) как овечий (как заячий) хвост (хвостик)*. Прост. ирон.; *наложиться в штаны*. Грубо-прост.; *писать кипятком*. Вульг.

значение, он отрывается от индивидуального или коллективного субъекта, номинировавшего его. Поэтому любые концепты, независимо от того, передают ли они ценность в ее обыденном или научном понимании, являются ценностями. Почти все слова, полагает автор, ссылаясь на Р. М. Хэара, в процессе дискурсивно-метафорического мышления становятся словами-ценностями.

Непременным условием актуализации лингвокультурологических ценностей является «вертикальный контекст» (пресуппозиции), приводной ремень системно-функционального механизма интериоризации знаний, представлений, мнений об объективной действительности, выработанных человечеством в рамках той или иной этнокультуры, в процессе их ценностной интерпретации и моделирования таких базовых категорий лингвокультуры, как картина мира, концептуальная система мира, модель и образ мира.

Каждая из этих категорий представляет собой относительно завершённый и целостный фрагмент глобального образа мира, который, в свою очередь, является буферным звеном между предметно-практическими (материальными) и духовными (идеальными) аспектами нашей жизнедеятельности, выступая универсальным средством образования того или иного этнокультурного сообщества. Они представляют собой структуры особой философии познания мира – герменевтики, которая, в отличие от гносеологии, не открывает, а истолковывает познаваемую действительность.

Возможность такого структурирования познаваемого мира исходит из сущности основополагающей категории когнитивно-семиологической теории лингвокультуры, которой, в нашем представлении, и является глобальный образ мира. В основе когнитивно-семиологического структурирования глобального образа мира лежит уже известная тройственная связь между «предметом», «концептом» и «словом», с тем лишь отличием, что исходной точкой здесь оказывается не «концепт», а «слово», связующее предмет и его отражение в нашем сознании [Колесов 2002: 8]. При таком подходе даже оязыковление универсальных (общечеловеческих) концептов типа «Жизнь», «Смерть», «Любовь», «Вечность», «Добро», «Зло» рассматриваются с точки зрения их этнокультурного понимания, поскольку слова и, тем более, фраземы – продукты герменевтики, знаковое средство этнокультурного истолкования познаваемого фрагмента действительности.<sup>6</sup>

Глобальный образ мира – основа субъективного миропонимания, результат системной духовной активности человека по освоению всей своей предметно-практической деятельности. Такого рода субъективный образ объективной действительности, оставаясь образом реального мира, непременно подвергается семиотизации, объективируется разными подсистемами языковых знаков, которые, не будучи зеркальным отражением реальности, творчески ее интерпретируют и после такой герменевтической обработки вводят в уже сложившуюся систему мировосприятия [Роль человеческого фактора ... 1988: 21].

<sup>6</sup> Так, напр., только в стране с традиционным употреблением пива мог возникнуть фразеологизм *malé pivo* (букв. маленькое пиво) – ‘о мужчине маленького роста’, а только в России мог появиться оборот *туп как сибирский валенок* – ‘об очень глупом человеке’.

В итоге глобальный образ мира усилиями коллективной лингвокреативной деятельности этнокультурного сообщества превращается в этноязыковую картину мира, поскольку, во-первых, разные этносы используют разные средства интериоризации и семиотизации открытого для себя (познанного) мира; во-вторых, у каждого из них уже имелась ранее сложившаяся система мировосприятия. В отличие от концептуального образа мира, который со всей очевидностью имеет двойственную природу (с одной стороны, это элемент сознания, с другой – еще неопредмеченный образ реального мира), этноязыковая картина мира не только опредмечивает (при помощи семиотических систем не обязательно собственно языковой природы) когнитивное сознание, но и переводит его в «автоматический режим», т.е. на уровень **подсознания**. Это достигается, думается, в процессе объективирования концептуальной картины мира (его денотативно-сигнификативного образа) в семантическое пространство естественного языка. Этноязыковая картина мира, будучи вторичным, производным образованием, сложна, вариативна, динамична, но, тем не менее, у нее есть некий инвариантный остов – этноязыковые константы, входящие в состав сознания каждого члена данного этноязыкового сообщества. Благодаря этноязыковым константам обеспечивается не только взаимопонимание разных индивидуальных сознаний в рамках одной этноязыковой культуры, но и так называемая межкультурная коммуникация<sup>7</sup>. Последняя осуществляется благодаря общим для языка и культуры категориальным свойствам. Это, в частности: (1) культурные и языковые формы сознания, отражающие мировоззрение этноса, которые (2) ведут между собой постоянный диалог, поскольку коммуниканты – всегда субъекты определенной этнокультуры (субкультуры). (3) Язык и культура имеют индивидуальные и общественные формы существования. (4) Им свойственны нормативные коды, подчиняющиеся принципу историзма. Наконец, (5) они взаимно предполагают друг друга: язык – основной инструмент усвоения культуры, форма воплощения национальной ментальности; культура находит свою реальную жизнь в языке как одной из важнейших систем ее семиотического воплощения. «Внешний мир, в который погружен человек, чтобы стать фактором культуры, подвергается семиотизации и разделяется на область объектов, нечто означающих, символизирующих, указывающих, т.е. имеющих смысл, и объектов, представляющих лишь самих себя» [Лотман 2000: 178].

И все же говорить о полном тождестве категорий языка и культуры нельзя. Каждое из явлений обладает различительными признаками:

1) Язык как средство коммуникации одинаково принадлежит всему этнокультурному сообществу, хотя средством ее существования является индивидуум; культура наиболее полно эксплицируется в элитарном коллективе.

2) Язык имеет ярко выраженную синергетику; культура без знаковых опосредователей не способна к самоорганизации, поэтому это разные семиоти-

<sup>7</sup> По определению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [Верещагин, Костомаров 1990: 26].

ческие системы: первая обслуживает вторую, хотя вторая наиболее рельефно проявляется только на фоне языкового ландшафта.

3) Эти и другие различия обусловлены их разными системно-функциональными возможностями: лингвосемиотика как система не полностью «покрывает» предметную область культуры, и, наоборот, этнокультурное пространство многообразнее и богаче культурно значимого семантического пространства языка. Речь можно вести лишь о синергетике языка, сознания и культуры [Алефиренко 2002]. Ведущим механизмом в этом синергетическом континууме оказывается языковая модель мира, поскольку именно в ней отображается многоплановая действительность: а) исторически сложившийся в данном этноязыковом сообществе образ мира; б) зафиксированный в грамматике канонический свод нормативных субъектно-объектных отношений между конституентами этноязыкового пространства; в) выработанный веками лингвосемиотический механизм концептуализации мироздания. В силу этого каждое этноязыковое сознание отражает именно ту, а не иную картину мира, способ ее восприятия и кодировки – семантическое пространство соответствующего языка, которое соотносимо с этноязыковым сознанием, ибо представляет собой единую и целостную систему взглядов – коллективную философию, которая усваивается всем этноязыковым сознанием в целом и сознанием каждого члена языкового коллектива в отдельности, как в капле росы отражающем этнокультурный мир человека.

Целостное этнокультурное сознание является способом существования концептосферы языка. На разных его уровнях продуцируются те смыслы и идеи, на основе которых, собственно, и формируются культурные концепты.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- АЛЕФИРЕНКО, Н. Ф. (2002): *Поэтическая энергия слова: Синергетика языка, сознания и культуры*. М.
- БОЛДЫРЕВ, Н. Н. (2002): Языковые механизмы оценочной категоризации. In: *Реальность, язык и сознание: Междунар. межвуз. сборник науч. тр.* Тамбов, с. 360–369.
- ВЕРЕЩАГИН, Е. М., КОСТОМАРОВ, В. Г. (1990): *Язык и культура*. М.
- ВИНОГРАДОВ, С. Н. (2007): К лингвистическому пониманию ценности. In: *Русская словесность в контексте мировой культуры: Материалы Междунар. науч. конф. РОПРЯЛ.* – Н. Новгород, с. 93–97.
- ГРЕЙМАС, А.-Ж. (2004): *Структурная семантика: поиск метода*. М.
- КОЛЕСОВ, В. В. (2004): *Язык и ментальность*. СПб.
- ЛОТМАН, Ю. М. (2000): *Семiosфера*. СПб.
- МОКИЕНКО, В. М. (2008): Когнитивное и адогнитивное во фразеологии. In: *Фразеология и когнитивистика*. Т. 1. Белгород, с. 13–26.
- ПОТЕБНЯ, А. А. (1999): *Собрание трудов. Мысль и язык*. М.
- СЕРЕБРЕННИКОВ, Б. А. (отв. ред.) (1988): *Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира*. М.
- СОССЮР, Ф. де (1977): *Курс общей лингвистики: Труды по языкознанию*. М.
- СТЕПАНОВА, Л. (2007): К динамике фразеологической картины мира (по материалам словаря М. И. Михельсона «Русская мысль и речь»). In: *Frazeologia a językowe obrazy świata przelomu wieków*. Opole, s. 75–81.
- ЧЕРНЯВСКАЯ, В. Е. (2006): *Дискурс власти и власть дискурса: Проблемы речевого воздействия*. М.



ДАНА БАЛАКОВА – ВЕРА КОВАЧОВА

Словакия – Ружомберок

## ЧЕШСКО-РУССКОЕ И СЛОВАЦКО-РУССКОЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И НЕПОНИМАНИЕ<sup>1</sup>

### АБСТРАКТ:

By means of analysis of the results of socio-linguistic research focusing on the interlanguage (Czech-Russian and Slovak-Russian) phraseological competence of the present young generation (students 15–19 years), the authors dealt with the so far relatively neglected phraseological aspect. Material basis for this research became the Polish original and the Russian translation of the work *Narrenturm* by Polish writer Andrzej Sapkowski.

### KEY WORDS:

Phraseological equivalents – semantic interpretation of phrasemes – interlanguage phraseological competence.

Исходя из интерлингвистической проксемики<sup>2</sup> славянских языков словацкий – чешский – русский, неудивителен тот факт, что наиболее явной является близость (языковая и внеязыковая), демонстрируемая отношением словацкого и чешского языков как языков западнославянских, генетически, типологически и структурно «близкородственных». Отношение русского языка по отношению к чешскому и словацкому языкам иное. Хотя степень родства относительно высока, что вытекает уже из генетических характеристик славянских языков, различия здесь обусловлены как генетически (западнославян-

<sup>1</sup> Príspevok vznikol v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/4734/07 „Dynamické tendencie v súčasnej slovenskej frazeológii“.

<sup>2</sup> Интерлингвистической проксемикой, которая представляет собой „jazykovú i mimojazykovú vzdialenosť medzi dvoma (prípadne viacerými) jazykmi, ktoré prichádzajú do kontaktu“ [Ološtiak 2004: 131–132] подробнее занимается М. Олоштяк. В наших рассуждениях о межъязыковой славянской фразеологической компетенции понятие интерлингвистической проксемики фигурирует как вводное в смысле теоретических замечаний о взаимоотношениях славянских языков, селективно представленных в данном докладе языками словацким, чешским и русским.

ские языки – восточнославянский язык), так и результатом тенденций развития языков. Пассивное или активное владение словаками и чехами русским языком, которое было в прошлом обусловлено обязательным преподаванием русского языка в школе, в современных условиях имеет у молодого поколения снижающуюся тенденцию.

В нашем фразеологическом исследовании мы сосредоточились на анализе способности соответствующей семантической интерпретации (далее СИ) фразеологизмов (далее ФЕ) родственного славянского языка (идентификация архисемы) с помощью экспериментальной группы, в которую вошли чешские и словацкие ученики средних школ (далее также ЧУ, СУ) как представители современного молодого поколения<sup>3</sup>. При заполнении анкет они должны были адекватно семантически интерпретировать фразеологический материал<sup>4</sup>, или найти подходящий семантический эквивалент в родном языке<sup>5</sup>.

Более серьезные затруднения с СИ испытывали СУ и ЧУ у трех фразеологизмов – 1. (7 % ЧУ – 8 % СУ), 3. (16 % ЧУ – 5 % СУ) а 6. (3 % ЧУ – 10 % СУ) ФЕ. Степень интерпретационной неудачи была почти идентичной в случае 1. ФЕ.

**Фразема 1:** Экипаж из четырех человек *мотался как чумной*. Неудача у СУ и ЧУ (ни одного правильного ответа) была обусловлена концентрацией на глагол *мотался*. Хотя ученики поняли, что перед ними сравнение, они не смогли идентифицировать компонент *чумной*: а) они либо игнорировали его и приблизили архисему к буквальному значению ‘неуверенно двигаться, шататься’ – состояние пьяного, к значению ‘бесцельно ходить, слоняться’, или видели здесь связь с глаголом «мешать» или «быть неповоротливым, неловким»; б) либо сконцентрировали на нем свое внимание, что особенно чешских респондентов привело к ответам, исходящим из значения глагола *čumieť* (slov. *zízať, civieť*) – «пялиться».

**Фразема 3:** *Словно после дождя вырастают ложные пророки*. Для СУ эта ФЕ была второй по трудности, для ЧУ третьей. Результаты отличаются в пользу чехов (5 % СУ – 16 % ЧУ). Причины их неудачи интересны с точки зрения интерпретации – по отношению к русской ФЕ и с точки зрения сопоставительного чешско-словацкого аспекта (существование эквивалента: *jako houby po dešti/ako huby po daždi*). Прежде всего, СУ отказались дать какой бы то ни было

<sup>3</sup> Экспериментальная группа характеризовалась близким количеством и качеством – словацкая сторона имела 187 респондентов, чешская сторона 185 респондентов; это были ученики средних школ в возрасте 15 – 19 лет (гимназия – словацкие ученики в Ружомберке; гимназия и коммерческое училище – чешские ученики в г. Лоуны).

<sup>4</sup> Материал, почерпнутый из произведения «Башня шутов» – в оригинале *Narrenturm* (автор – польский писатель А. Сапковски. Сапковски относится к авторам, функционально работающим с экспрессивностью выражения, часто добываясь ее, кроме прочего, с помощью фразем. Его произведение, переведенное на многие языки, позволяет заглянуть в межъязыковую фразеологическую компетенцию членов двух языковых сообществ и во фразеологическую компетенцию как таковую.

<sup>5</sup> В материал вошли следующие фраземы: **1.** Экипаж из четырех человек *мотался как чумной*. **2.** Так что *волосы вставали дыбом*. **3.** *Словно после дождя вырастают ложные пророки*. **4.** Ты должен раз и навсегда *выбить у себя из головы мысли о жене* Гельфрада Стерчи ... **5.** *Не одежда красит человека* – холодно ответил Шарлей. **6.** Клялся, что с убийцы господина Ноймаркта, когда его поймут, *живьем шкуру сдерет*. **7.** Те, что потрусливей, сразу же *взяли ноги в руки*.

ответ в 96 случаях (ЧУ – 73). Второй причиной было отсутствие СИ, т.е. СУ (однако, и ЧУ) приводили только эквивалентную ФЕ, а этого в соответствии с целью эксперимента (выяснить фразеологическую компетенцию) было недостаточно – ответы не засчитывались (см. заключение статьи). Третьей причиной была большая сосредоточенность на контекст ФЕ, на словосочетание *ложные пророки*, которая в комбинации с союзом *словно* (эвокация лексемы *слово*) и вместе с предлогом *после* вела к неверной СИ, связанной с темой Бога, пророков и их пророчеств. В то время как СУ связывали компонент *ложные* только со значением 'živý' – 'лживый', ЧУ вспоминали и о „ložníci“ (спальня). Другие неверные СИ (чешско-словацкие) исходили из компонента *dážd'* (дождь) – объяснения или касались погоды, или были связаны с ее неблагоприятными последствиями и приобретали антропоцентрический характер.<sup>6</sup>

**Фразема 6:** Клялся, что с убийцы господина Ноймаркта, когда его поймут, *живьем шкуру сдерет*. В случае данной ФЕ – для ЧУ второй (3 %), а для СУ третьей (10 %) по трудности – мы получили самое большое количество незаполненных ответов (ЧУ: 99; СУ: 108), что обусловило низкий процент успешности. Тенденции сходны с предыдущими ФЕ: только эквивалентный вид без СИ, концентрация только на один/два компонента и вытекающая из этого дезинтерпретация. Компонент *живьем* привел ЧУ к СИ, рефлектирующим значение глагола „žít“<sup>7</sup> (жить), или „živít“, živít niekoho (кормить, содержать кого-либо) или „živít sa“ (питаться, содержать себя), а в комбинации с неидентифицированным компонентом *шкуру* мы могли зарегистрировать более-менее ожидаемые ассоциации.<sup>8</sup> Причиной неверных ответов был и другой фактор. ФЕ *драть (сдирать/содрать) шкуру ([no] две (три) шкуры, семь шкур) с кого* [Stěpanova 2007: 857] имеет в русском чешском и словацком языках следующие значения: 'жестоко эксплуатировать кого-л.'; 'бессовестно обирать кого-л.', 'жестоко наказывать, избивать кого-л.'. Поскольку контекст в данном конкретном случае позволял дать только интерпретацию 'жестоко наказывать, избивать кого-л.', ответы, рефлектирующие остальные значения, мы не принимали во внимание, что снизило процент успешности (однако на 2-ом этапе подведения итогов мы данной проблематикой занимались – см. заключение доклада).

Хотя было сказано, что проблемы с СИ были значительными у трех ФЕ, это не означает того, что СИ других ФЕ были автоматически беспроблемными, однако степень неуспешности была менее явной (ФЕ 4, 5), в двух случаях, например, способность правильно установить архисему на одной или другой стороне превысила границу 50 %. Представим результаты поступательного роста СИ в следующем порядке: ФЕ 5, 4, 2 и 7.

Процент (не)успешности связан не только со степенью родства, близости языков; результаты следует оценивать и с точки зрения фразеологической

<sup>6</sup> Напр.: *po dažďi vyjde slnko/po bouřce se vyjasní; žiadny smútok netrvá večne/po bouřce príjde něco pěkného.*

<sup>7</sup> Напр.: *žijem doopravdy špatně, strašně; živi jsme a budem ...*

<sup>8</sup> Напр.: *živím celou rodinu, kopu dětí, nepravého, ošklivého škrety, hnusnou šeredu; živím se kůrou ze stromů, kůrkou chleba, škrobem.*

компетентности и дистинктивного характера контекста фраземы: на втором этапе мы, таким образом, подошли к переоценке – мы приняли во внимание сложность СИ и отнесли к верным и такие ответы, в которых фигурировал только чешский/словацкий эквивалент; в случае ФЕ 6, которая позволяла сделать дифференцированную СИ, обусловленную контекстом, мы признали верными и ответы, не принимающие во внимание контекст. Результаты у некоторых ФЕ были отличными (рисунки 2 и 3).

**Рисунок 1 и рисунок 2 – сравнение успешности у отдельных архисем фразеологических единиц без засчитывания эквивалентов без семантической интерпретации (ЧУ1 и СУ2 – рис. 1; СУ1 и СУ2 – рис. 2)**

Рисунок 1

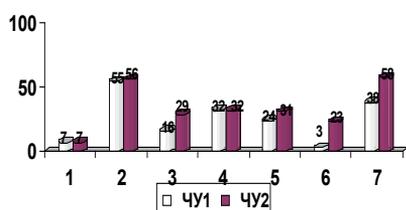
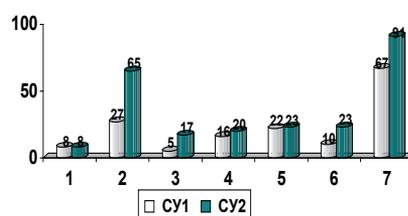
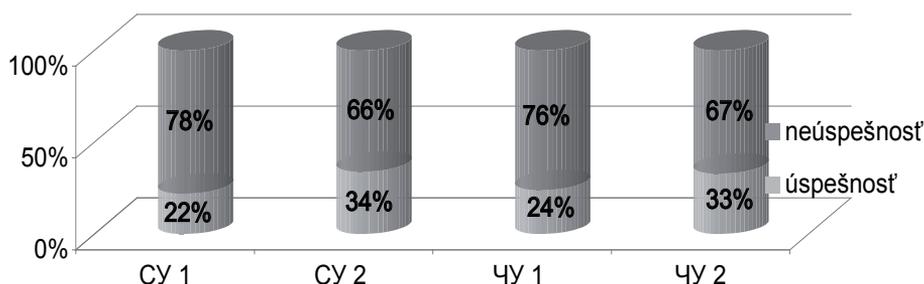


Рисунок 2



Результаты успешности ЧУ и СУ в первой и второй фазе оценки показывают рисунки 5, 6. При первом подсчете выше успешность ЧУ, при втором, наоборот, на 1 % опережают СУ. В обоих случаях способность апперцепционной эквивалентности обоих языков заметна и сравнима при акцептировании критериев, установленных для второго этапа оценки правильности/неправильности ответов, и показывает, по нашему мнению, современный уровень отношения чешского и словацкого языков к русскому языку (рисунок 3).

**Рисунок 3 – сравнение общей успешности (%) фразеологической компетенции словацких (СУ) и чешских учеников (ЧУ) без засчитывания эквивалентов (СУ1, ЧУ1) и после засчитывания эквивалентов (СУ2, ЧУ2)**



Результаты отражают известный факт: при значительной отдаленности языков в языковом и внеязыковом отношении только сама принадлежность к одной языковой семье не обеспечивает у носителей определенного языка понимание другого языка – без активного развития коммуникационной компетенции в данном языке. Родство может помочь при семантической «расшифровке» лексических компонентов, с другой стороны, звуковое сходство семантически отличных единиц, как указывает М. Шинделаржова [Шинделаржова 2007], может действовать контрапродуктивно. Хотя у ФЕ нельзя обойти и вопрос первичного и вторичного значения, на степень знания затем наслаивается фразеологическая компетенция (для данного доклада) в реляциях способности постичь ФЕ и «приписать» ей соответствующее семантическое значение, причем не только с учетом инвариантного вида ФЕ, но и спецификации значения реализационной формы ФЕ.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- OLOŠTIĀK, M. (2004): O interlingválnej proxemike (príspevok k poznaniu medzijazykových súvislostí). In: V. Patráš (ed.): *Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach*. Banská Bystrica: FHV UMB, s. 131–142.
- SAPKOWSKI, A. (2007): *Narrenturm*. Warszawa: SuperNowa. 1. vyd. 2002. 594 s.
- САПКОВСКИЙ, А. (2007): *Башня шутов*. Пер. Е. П. Вайсброт. Москва: Хранитель. 699 с.
- STĚPANOVA, L. (2007): *Rusko-český frazeologický slovník*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 878 s.
- ŠINDELÁŘOVÁ, M. (2007): Znalost a chápání frazémů u cizinců. In: D. Baláková, P. Ďurčo (eds): *Frazeologické štúdie V. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii*. Ružomberok: FF KU 2007, s. 343–357.



BOŽENA BEDNAŘÍKOVÁ

Česká republika, Olomouc

## TZV. TRANSPOZICE ANEB JAK SE DOSTAT Z „DOKULILOVSKÝCH SÍTÍ“

### ABSTRACT:

The article proceeds from the canon of Dokulil's onomasiological method and endeavours to prove a) incompatibility of the respective method with its own basis, as the samples like *brodit* → *brod* (the so-called non-affix derivation) turn out to be onomasiologically unanalysable, although the words evidently have been formed, b) incompatibility of the method with the PS theory applied in Mluvnické češtiny 2 and with the PS transposition theory based on the idea of oscillation/hierarchization of syntactical functions.

### KEY WORDS:

Inflectional/lexical morphology – syntagma – inflectional/wordformational basis/formant – PS transposition – conversion – added onomasiological value.

**o. Místo úvodu.** Podnětem pro vznik tohoto zamyšlení je poznámka prof. Slavomíra Ondrejoviče, ředitele Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislavě, jež zazněla v průběhu obhajoby mé habilitační práce s názvem SLOVO a jeho konverze [Bednaříková 2009] před Vědeckou radou Filozofické fakulty UP Olomouc dne 20. května 2009. Při mém pokusu o osvětlení koncepčního podkladu celé práce, jež nehodlá stát na obvyklém směřování slovnědruhového přechodu (tzv. PS transferu) jako procesu s onomaziologickým typem transpozičním jako statickou sémantickou relací, někdy dokonce i s tzv. transpoziční derivací jako slovtvornou operací, poznamenal prof. Ondrejovič, autor jednoho z posudků habilitační práce, že je obtížné dostat se z „dokulilovských sítí“. Nechť je tento trefný a jistým způsobem heretický lingvistický bonmot bází následujícího příspěvku.

**1. Koncepční podklad příspěvku.** Koncepčně se předkládané úvahy opírají o tři základní premisy:

- návrat slova do morfologie a s tím související změnu jeho statusu jako základní jednotky morfologických deskripcí,
- spojení morfologie flexivní a lexikální,
- slovní tvar jako syntagma.

**1.1. Návratem slova do morfologie** se myslí především jeho návrat do lingvistiky anglosaské (znatelně v devadesátých letech, ale částečně již dříve, v letech sedmdesátých [např. Matthews 1991], kdy na jistou dobu bylo „slovo“ jako jednotka překryto popisy formalistními, především deskriptivistickými a generativními, budujícími na morfému. V české funkčně zaměřené lingvistice bylo slovo vždy součástí lingvistického popisu. Morfosyntaktická koncepce 2. a 3. dílu akademické Mluvnice češtiny [Mluvnice češtiny 2, 3, 1986, 1988] na slově jako základní jednotce buduje, ač ne celistvě. Není totiž do strukturních popisů slova zabudována stránka slovotvorná, o čemž svědčí i koncepční nekompatibilita prvního a druhého dílu zmíněné mluvnice. Slovo jako základní jednotka morfologie však překvapivě nefiguruje v konsenzuálním Encyklopedickém slovníku češtiny [Encyklopedický slovník češtiny 2002].

**1.2. Spojení morfologie flexivní s lexikální (slovotvornou)** úzce souvisí se slovem jako základní jednotkou morfologického popisu. Má-li morfologie (především v duchu modelu WP a IP) studovat vnitřní strukturu slova a má-li být vnitřní struktura slova výsledkem série tzv. morfologických procesů, nutně musí morfologická deskripce zahrnovat různá „odvětví“ morfologie [Bednaříková 2009b]. Podle funkce účastnicích se morfologických procesů dělí se tato odvětví obecně na morfologii flexivní a morfologii lexikální.

**1.3 Pojetí slova jako syntagmatu** odráží výše zmíněné dvoustránkové pojetí morfologie. V mnohém konvenuje i mathesiovskému funkčně strukturálnímu členění komunikačního aktu na tzv. jazykové pojmenování a jazykové usouvztažnění [Mathesius 1936: 49; 1982: 34]. Rozdíl je ovšem v tom, že Mathesius pojímá slovo jako předtextovou jednotku. V každém případě však syntagmatické nahlížení na strukturu slova reflektuje obě jeho funkce: funkci onomaziologickou i funkci strukturační (organizující v linearitě).

**2. Podstata „dokulilovských sítí“** se dá ve stručnosti a při vědomí nutného zjednodušení a redukce zachytit do následujících bodů:

- směr slovo → text,
- kánon onomaziologické metody,
- vztah významu slova fundujícího a fundovaného, vztah významu slovotvorného a lexikálního,
- binarismus a syntagmaticčnost.

**2.1.** Jak již několikrát ukázal ve svých pracích Kořenský, je nutno **myšlení o slově** korelovat s myšlením o textu [Kořenský 1992: 265; 1994: 301; 1998: 83–88]. U Dokulila, stejně jako již u Mathesia v souvislosti s jeho rozlišováním dvou základních komunikačních aktů (srov. 1.3) je na slovo nahlíženo předtextově, jako na jednotku apriorně sémanticky diskrétní. Není řešena otázka, zda onomaziologická potřeba nemůže vzniknout až s aktem usouvztažnění.

**2.2. Dokulilova onomaziologická metoda** se opírá o soustavu nejobecnějších jazykově relevantních pojmových kategorií substance, vlastnosti, děje a okolnosti. Tyto zobecněné kategorie se při onomaziologickém procesu stávají základem tzv. onomaziologické báze a onomaziologického příznaku, strukturně vyjádřených tzv. slovotvornou bází a slovotvorným příznakem. Dle sémantické relace mezi slovem

základovým a utvořeným se rozlišuje známá triáda tzv. onomaziologických kategorií, a to mutace, modifikace a transpozice [Dokulil 1962; Dokulil 1982].

**2.3. Syntagmatický strukturní princip** u deskripce slovtvorby nalezneme např. již u Marchanda [Marchand 1960; Štekauer 2000: 33]: ten rozlišuje tzv. modifier a head (odpovídající Dokulilovým termínům onomaziologický příznak a onomaziologická báze), jež strukturně korespondují s determinantem a determinatem (Dokulilovými termíny slovtvorná báze a slovtvorný příznak). Např. ve slově *governmental* je determinantem *government* a determinatem (kategoriálním příznakem) závislý morfém *-al*. Dokulilův strukturní princip, jak je ukázáno níže, je však uplatnitelný pouze na morfologický proces derivační.

Př. 1

*silná cesta* → *silnice*

**siln** – *ic(e)*

**onomaziologický příznak** – onomaziologická báze

**slovtvorná báze** – slovtvorný formant (slovtvorný sufix)

U utvořeného (fundovaného) slova *silnice* je onomaziologickou bází zobecněný nositel vlastnosti vyjádřené adjektivem (silný = pevný), onomaziologickým příznakem je právě ona vlastnost. Strukturně je onomaziologická báze vyjádřena slovtvorným formantem ve formě sufixu se slovtvornou funkcí. Slovtvorný sufix *-ic* tedy nese význam nositele vlastnosti „silný“. Slovo *silnice* vzniklo morfologickým procesem derivačním a je ilustrativním příkladem využitelnosti dokulilovské onomaziologické metody při popisu slovtvorné struktury fundovaného slova. To však neplatí o př. 2.

Př. 2

*brodit* → *brod*

**brod** – ?

**onomaziologický příznak** – onomaziol. báze?

**slovtvorná báze** – slovtvorný formant (slovtvorný sufix)?

Substantivum *brod* je fundováno verbem *brodit*. Dle dokulilovské interpretace by mělo jít o tzv. bezafixální derivaci. Slovtvorný formant, jímž by měl být slovtvorný sufix, tedy není formálně vyjádřen, Dokulil nepočítá ovšem s tzv. zero derivation, tedy ani s nulovým morfem ve funkci slovtvorné. Odtud je tedy zcela nemožné provést syntagmatickou analýzu daného slova na slovtvornou bázi a slovtvorný formant, jež by měly být vyjádřením onomaziologického příznaku a onomaziologické báze. Jde přitom především o onomaziologickou bázi realizovanou slovtvorným formantem, jíž by při derivaci měl být segment nesoucí kategoriální zobecnění. Z hlediska onomaziologického jsou tedy tyto případy neanalyzovatelné, ač k onomaziologickému procesu evidentně došlo. Přesto syntagmatický strukturní princip selhává jen zdánlivě, je třeba ale nahlížet na povahu věci ze zcela odlišných východisek.

**3. Teorie transpozice.** Jiným východiskem pro odhalení podstatné stránky těchto případů je teorie transpozice vycházející z dynamického charakteru relací mezi bazálními/autosémantickými slovními druhy [Mluvnické češtiny 2, 1986; Bednaříková 2009]. Po první fázi tzv. slovnědruhové transpozice, kdy se jeden z bazál-

ních slovních druhů dostane do funkční pozice jiného bazálního slovního druhu, mohou syntaktické potřeby vyvolat onomaziologický proces, tzn. gramatická transpozice přechází v transpozici slovotvornou, a dojde tak ke vzniku nového slova.

Př. 3

**Léčili** na zajíce.  $V^v$

**Léčit** na zajíce bylo pro ně vzrušující dobrodružství.  $V^v \Rightarrow V^s$

Jejich **léč** byla úspěšná.

$(V^v \Rightarrow ) V^s \Rightarrow S^s$

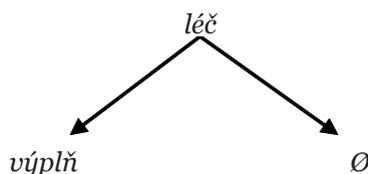
Podstatné je, že akt pojmenování musí být v tomto případě nahlížen směrem od textu, protože onomaziologická potřeba byla vyvolána potřebami syntaktickými/komunikačními.

#### 4. Pokus o syntagmatickou analýzu.

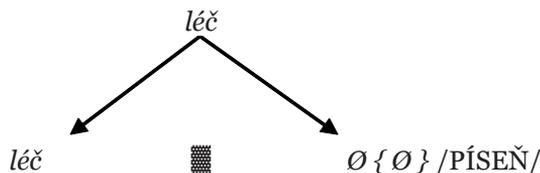
Př. 4

Morfematická analýza vnitřní struktury slova *léč* (*Jejich léč byla úspěšná*):

I.



II.



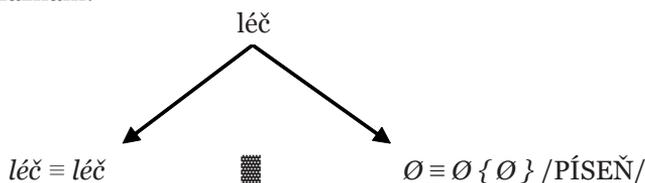
Ve fázi I jsou odděleny členy prvního syntagmatu (akt usouvztažnění), tj. tvarotvorná báze a tvarotvorný formant, jako dva bezprostřední konstituenty slovního tvaru.

Ve fázi II jsou odděleny členy druhého syntagmatu (akt pojmenování, zde ovšem vyvolaný komunikačními potřebami), tj. slovotvorná báze a slovotvorný formant, jako dva bezprostřední konstituenty utvořeného slova. Slovotvornou funkci má v tomto případě komplexní změna morfologické charakteristiky, tj. změna slovního druhu a změna flexe. Syntagmatická analýza je tak možná, protože slovotvorný formant je identifikovatelný, ač graficky ve schématu zachycený jen koncovkou nom. sg., zastupující jako reprezentativní tvar celé paradigma deklinačního typu PÍSEŇ.

**4.1.** Ukazuje se tedy, že **slovotvorná transpozice** je realizovaná změnou morfologické charakteristiky, tj. morfologickým procesem konverze. Tajemství slovotvorné síly tohoto procesu je ukryto, zdá se, v tzv. přidané onomaziologické hodnotě [Bednaříková 2009]. Jde o latentní, leč podstatnou funkční informaci (ve schématu vyznačenou symbolem  $\square$ ). Furdík dokonce mluví o ternárním členu onomaziologické struktury, tzv. onomaziologickém spoji [Furdík 2004: 55].

Př. 5

Souhrnný grafický záznam:



**5. Závěrem.** Flexivní morfologické procesy, primárně sloužící potřebám syntaktickým, mohou stát ve službě potřebám onomaziologickým. Podstata jejich onomaziologické schopnosti tkví v uplatnění tzv. konverze (tj. konverze morfologických charakteristik, včetně charakteristiky slovnědruhové). Konverze tak slouží dokončené slovnědruhové transpozici, tj. transpozici slovotvorné. Potřebám přechodu mezi slovními druhy může sloužit sice i derivace (především dokulilovská derivace transpozici), ale protože fyzická adice slovotvorného afixu (např. sufixu *-ost*: *hloupý* → *hloupost*) s sebou přináší fixovaný zobecněný onomaziologický význam, nemůže jít o pouhé převedení pojmového obsahu do jiného slovního druhu.

O absolutní sémantické identitě však není možné hovořit ani u konvertovaných slov (ač konverze vyhovuje přirozené potřebě vyjádřit substanci/příznak jako příznak/substanci, vyvolané potřebami syntaktickými/komunikačními). Jakmile je realizován onomaziologický akt, vždy je latentně přítomna i přidaná onomaziologická hodnota.

**POUŽITÁ LITERATURA:**

- BEDNAŘÍKOVÁ, B. (2009a): *SLOVO a jeho KONVERZE*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  
 BEDNAŘÍKOVÁ, B. (2009b): *SLOVO(tvorba) a TEXT*. In: *Užívání a prožívání jazyka. Living With and Through Language*. Praha. (v tisku)  
 DOKULIL, M. (1962): *Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov*. Praha: Academia.  
 DOKULIL, M. (1982): K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice. *Slovo a slovesnost* 43, s. 257–271.  
 DOKULIL, M. (1997): Zur Frage der Konversion und Verwandter Wortbildungsvorgänge und -beziehungen. In: J. Panevová - Z. Skoumalová (eds.): *Obsah - výraz - význam II*. Praha: Filozofická fakulta UK, s. 135–158.  
 KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. (eds.) (2002): *Encyklopedický slovník češtiny*. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.  
 FURDÍK, J. (2004): *Slovenská slovotvorba*. (ed. Ološtiak, M.), Prešov: Náuka.  
 KOMÁREK, M. (1999): Autosemantic Parts of Speech in Czech. (přel. Božena Bednaříková). In: *TCLP 3*, Praha, s. 195–210.  
 KOMÁREK, M. (1978, 2006): *Příspěvky k české morfologii*. Praha: SPN, Periplum.  
 KOŘENSKÝ, J. (1992): K otázce procesuálního pojetí slovní zásoby. *Slovo a slovesnost* 53, s. 265–272.  
 KOŘENSKÝ, J. (1994): Ještě několik slov k možnostem výkladu lexikální složky jazyka. *Slovo a slovesnost* 55, s. 301–302.  
 KOŘENSKÝ, J. (1998): Slovo v textu. *Jazykovědné aktuality* 35, s. 83–88.  
 MARCHAND, H. (1960): *The categories and types of Present-day English Word-formation*. München.  
 MATHESIUS, V. (1936): Pokus o teorii strukturální mluvnice. *Slovo a slovesnost* 2, s. 47–54.  
 MATHESIUS, V. (1982): *Jazyk, kultura a slovesnost*. Praha.  
 MATTHEWS, P. H. (1991): *Morphology*. Cambridge: Cambridge University Press.  
*Mluvnice češtiny I, II, III* (1986, 1986, 1988). Praha: Academia.  
 ŠTEKAUER, P. (2000): *English word-formation: a history of research* (1960 – 1995). Tübingen.



ЙОЗЕФ ДОГНАЛ

Чехия, Брно

## ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ: ТЯГОТЕНИЕ К СИНГУЛЯРНОСТИ

### АБСТРАКТ:

The article deals with the notion of value and with its development in Russian literature at the end of 19<sup>th</sup> – beginning of the 20<sup>th</sup> century showing the tendency towards the singular way of seeing and interpreting values. The singular point of view begins to be shown as important in Romanticism but at the end of the 19<sup>th</sup> century it becomes the prevailing tendency in theory and practice. The novel “Sanin” is mentioned as a significant work of art.

### KEY WORDS:

Value – Russian literature – interpretation – novel – socio-cultural information.

Литературное творчество (или же литературный текст как его результат) функционирует в любое время в качестве доли социокультурной информации, т.е. элемента, который в каждый определенный исторический момент одновременно

1. приносит в прошлом установившийся, традиционный взгляд на социокультурную реальность;
2. в настоящем рефлектирует моментальную социокультурную реальность; и конфронтирует ее с традиционным взглядом на нее;
3. концептуально трансформирует, меняет данную социокультурную информацию по отношению к будущему –

причем все это всегда относится именно к тому времени, в которое данный литературный текст возник, или в котором он непосредственно влиял на читателей/общество, т.е. исполнял именно свою функцию коммуниката.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> „Umelecká literatúra si vo svojom prirodzenom vývine v rámci národnej literatúry i široko koncipovaného kultúrneho spoločenstva ponecháva rolu anticipujúceho spoločníka pre idey, deje i činy ľudskej spoločnosti.“ (Художественная литература в течение своего естественного развития в рамках национальной литературы и в рамках широко понимаемого культурного общества оставляет за собой роль антиципирующего спутника для идей, происшествий и действий человеческого общества.) [Žemberová, Bilasová 2008 2].

Эта троичная функция литературного произведения или – в более общем плане вместе с последующими критическими откликами и литературной и общественной дискуссией – литературно-критического дискурса, не всегда дооценивалась, в другие времена, наоборот, переоценивалась<sup>2</sup>. Несмотря на то, что отношение человека к внутренней рефлексии самого себя и окружающего его мира связано по своей сути с оценкой, так как постоянно проходящие оценки позволяют одиночке рефлексировать и ориентировать собственную жизнь, самого себя, упорядочивать в своем миропонимании внешнюю реальность в таком виде, в котором она «переломляется» в его сознании, то в литературоведении внимание сосредотачивается довольно часто на формальном анализе без достаточного учета того, что для данного литературного направления является положительно воспринимаемой, прокламируемой ценностью<sup>3</sup>, иногда, наоборот, натываемся на «возведение идейного<sup>4</sup> анализа в степень»; уравновесить оба эти аспекта удастся, к сожалению, не всегда.

Уже само определение ценности в литературном произведении является своего рода проблемой. Интернетовская энциклопедия *Wikipedie* говорит, что это: „ ... *přesvědčení nebo víra, že daná věc je špatná, dobrá nebo důležitá pro život*“ (... убеждение или вера, что данная вещь является плохой, хорошей или важной для жизни – перевод мой – Й.Д.). [<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnota>]. Под заглавным словом «ценности» можно найти другое определение: „*Hodnoty jsou představy jedinců nebo skupin o tom, co je žádoucí, správné, dobré či špatné.*“ (Ценности – это представления индивидов или групп о том, что является требуемым, правильным, хорошим или плохим – перевод мой – Й.Д.)» [<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnoty>]. Из обоих этих определений вытекает, что ценности – это то, что приходит в литературное произведение из внешней реальности, т.е. из исторически изменчивой и социально дифференцированной среды, в которой разным группам присущи разные интересы, т.е. они признают и разные ценности. В новейших исследованиях антропоморфно определяемое понятие *ценность* подвергается новому осмыслению, которое ставит под вопрос именно его изменчивость и непостоянность. Чешский философ Йозеф Шмайс в течение поисков «новой гносеологии» ставит целый ряд вопросов, на которые она должна была бы ответить, и в заключение спрашивает: „*Potřebujete především pojmy přesné, neantropomorfní a zbavené emocí, anebo především pojmy vágní a emocionálně i hodnotově podbarvené?*“ (Нам нужны пре-

<sup>2</sup> Это проявляется довольно часто тем, что неуравновешенно подчеркивается оценочная установка произведения в течение его интерпретации – в определенное время (напр., при дадаизме) такая установка недооценивается, в другое время она ставится выше других критериев (напр., в русской литературе советского периода). Часто это проявляется тем, что дисгармонично обращают внимание то на «форму», то на «содержание» литературного произведения.

<sup>3</sup> Говоря о русском классицизме, и на эти факты обращает внимание русский литературовед А. А. Смирнов [Смирнов 2007].

<sup>4</sup> Именно тут происходит иногда то, что слово «идейный» подменяют другим – «идеологический». В чешской среде долгое время подмены одного значения другим создало определенный барьер – мы иногда как будто боимся признать, что литературное произведение может и не служить идеологиям как целостным концептам, направленным против других также упорядоченных концептов, а отдельным идеям, мыслям, т.е. «частичным» тезисам, суждениям о ценности явлений, людей и их поступков.

жде всего понятия точные, неантропоморфные и избавленные от эмоций, или прежде всего понятия неопределенные и эмоционально и оценочно подкрашенные? – перевод мой – Й. Д.) [Šmajš 2008 180]. Таким способом он подчеркивает, что видение через призму ценностей настолько тесно связано с человеческой культурой, что оно очень сильно влияет на наше познание и миропонимание, делая их неточными, заинтересованными. С эмоциональным подтекстом ценностей связаны и вторично оценивающие факторы восприятия литературного произведения, т.е. то, о чем часто говорят как об эстетических ценностях. Эстетические ценности как будто присоединяются к «внешнему» оценочному аспекту, следуя за ним в качестве второго ряда оценочных критериев. Однако, и эстетические ценности не являются однозначными и измеряемыми – точных измерительных приборов и мерок просто не существует.

Разговор о ценностях получает таким способом мультидимензиональную окраску; для него характерен антропоморфизм, даже антропоцентризм<sup>5</sup>, так как все ценностно ориентированные суждения даются с точки зрения отдельного человека или человеческой группы, которые произносят эти суждения под влиянием исторических, социологических, психологических, этических и других факторов, среди них и эстетического. Именно из-за того ценностно окрашенные суждения являются иногда настолько отличающимися друг от друга. Неслучайно Петр Билек, говоря об интерпретации литературного текста, спрашивает: „... k čemu má vôbec celek díla (je-li jako celek také znakem) odkazovat, čeho je ‚označujícím‘? Osobnosti, tj. človeka, ktorého cítíme za textem a jehož tematizovaný sebevýraz je nám v textu predložen, alebo ‚svéta‘, určitého typu jsoucna a snad jisté esence, spôsobu bytí? (... к чему стоит приурочить целое литературного произведения (если это целое тоже является знаком), что оно «обозначает»? Личность, т.е. человека, которого мы чувствуем за текстом и тематизированное самовыражение которого дается нам в тексте, или, мира, определенного типа бытия и, может быть, какой-то эссенции бытия? – пер. мой – Й. Д.) [Bílek 2003: 259]. Нам кажется, что понятие ценность может служить именно опосредующим фактором на этом субъект-объектном уровне, так как оба данных фактора тесно связывает их ценностная установка.

Нашей целью не является в данный момент решать мультидимензиональность ценностного суждения в литературе и о литературе, а только показать один фактор, влияющий на ценностные суждения и ценностную ориентацию на рубеже 19-ого и 20-ого веков. Этим центральным фактором является движение от плюралитной перспективы к сингулярной<sup>6</sup>.

Это движение является для европейских литератур 19-ого века сигнификантным. Началось оно намного раньше, для беллетристики оно, однако, ста-

<sup>5</sup> „Každá doba rieši základný problém – problém človeka – a nič iné nerobí ani umenie a literatúra, ktoré sa vyvíjali od antropomorfizmu k antropocentrizmu. (Каждая эпоха решает основную проблему – проблему человека – и ничего другого не делает и искусство, и литература, которые развивались от антропоморфизма к антропоцентризму. – пер. мой – Й. Д.) [Červeňák 2008 12].

<sup>6</sup> О *сингулярной перспективе* говорят в своей статье обе выше приводимые словацкие ученые. [Žemborová, Bilasová 2008: 3].

ло «массовым», т.е. явным признаком только в 18-ом веке, что особенно характерно для русской литературы.<sup>7</sup> Ведь еще первая половина 18-ого века в русской литературе характерна тенденцией подчиняться канонам, пользоваться ими, их правилами и для них общими моделями мышления и желаемыми правилами поведения. Систематичное тяготение к индивидуальному видению, к одиночке начинается в русской литературе по сути дела с сентиментализма. Стоит напомнить «Бедную Лизу» Карамзина и то, как в рамках традиционных *loci communes* начинает просвечивать индивидуальная перспектива и у рассказчика, и у Лизы как главного персонажа. Индивидуальный разрыв Лизы (и Эраста) с другими (мать, общество) признаваемой моделью кончается трагически; и рассказчик сочувствует, грустит сам от себя, по-своему.

Импульсами, движущими литературу по направлению к сингулярной перспективе, богат романтизм. Индивидуальное, сингулярное в поэзии Тютчева, сингулярное во взглядах пушкинского Алеко и – еще больше – у лермонтовского Печорина тяготеет к тому, что индивид освобождается, иногда протестует он против общего; другие признаваемые ценности/нормы являются для него нежелательным ограничением. Одиночка, его поведение и его внутренний мир подчеркнута тематизируются, что отражается и в языке литературных произведений. Можно сказать, что в романтизме сделалось многое для освобождения индивидуальной, сингулярной перспективы видения мира и его рефлексии; романтизм сделал решающий шаг в этом направлении. Индивидуальное стало считаться ценным, даже настолько, что оно могло изображаться вместе, параллельно с плюралитным: индивидуальное стало обладать ценностью само по себе.

Реализм, в русской среде натуральная школа и критический реализм, представляют для русской литературы своего рода коррекцию, рефлектирующий шаг, как будто поиски ответа на вопрос, не сделал ли предыдущий период слишком большой шаг в направлении к индивидуализму. Требование типизации не является ничем иным, чем попыткой уравновесить сингулярную и плюралитную перспективу. Выравнивается, таким образом, движение исторического маятника – свидетельствует об этом, напр., факт выдвижения Н. В. Гоголя и, наоборот, твердая критика Осипа Сенковского, с которой выступил В. Г. Белинский. И отношение Белинского к Гоголю резко изменилось, когда тот «отошел» от ожидаемого Белинским пути. Игровой стиль Сенковского не вписывался в это русло никогда, поэтому Белинский считал его непригодным и без настоящей ценности.

Однако, это было только определенное замедление – социальное развитие не остановилось; наоборот, оно убыстряло свои темпы. Одиночка, индивид в рамках этого развития становился независимым от целого, от социума. Очень сильный импульс вносит в это развитие Ницше, приведший в литературу-

---

<sup>7</sup> Индивидуальное воззрение протопопа Аввакума является одним из ярких исключений предыдущих эпох.

ру сильного одиночку с его правами поиграть всем ценным, включая мораль.<sup>8</sup> И в русской среде это сигнал для наступления тенденции к сингулярной перспективе. Социум в последней трети 19-ого века быстрыми темпами направляется на экономические и социальные изменения; распадается широкая семья, семейные отношения резко меняются, с экономической точки зрения одиночка перестает зависеть от общества, подчеркивается индивидуальная ответственность за результаты деятельности человека, внимание привлекает все больше материальная сторона бытия и права одиночки на «хорошую жизнь», на материальные благо. Одиночка таким способом выдвигается, ему присуждаются права на субъективное видение мира, на субъективное определение того, что следует считать ценным.

Переоценка всех ценностей, право сомневаться в традиционных определениях ценностей и права сильного одиночки (иногда среди его поклонников) смотреть на окружающий его мир можно усматривать и в том, что на рубеже 19-ого и 20-ого веков в сфере искусства возникает большое количество кружков, групп, группировок, призывов, манифестов, критических, полемических статей и манифестов. Квинтэссенцией можно считать роман М. Арцыбашева «Санин» – его герой представляет собой именно возможность индивидуальной трактовки многих до того времени незыблемых, общепризнаваемых ценностей, возможность их индивидуального нового определения по собственному усмотрению. Поэтому поведение Санина является *иньм*, поэтому он признает себе право судить резко о других, оставлять, наказывать их по своей ценностной установке, поэтому он – герой провоцирующий, герой для некоторых отвратительный, для других вдохновляющий. Именно в нем мы находим субъективную перспективу<sup>9</sup>, вошедшую в литературного героя нового покроя. Открывается целый огромный мир индивидуальной иррациональности, провоцирующей плюралитную рациональность а традиционность. Еще более наглядной станет это изменение, когда мы сравним арцыбашевского «Санина» с «Воскресением» Л. Толстого. Хотя по времени возникновения их отделяет только несколько лет, по отношению к социально признанным ценностям и их роли в развитии центрального персонажа они резко противоположны.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- BÍLEK, P. A. (2003): *Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu*.  
ČERVENĚK, A. (2008): Od antropomorfizmu k antropocentrizmu. In: *Reflexie esteticko-antropologické*. Nitra, s. 8–14.  
<http://cs.wikipedia.org/>  
NIETZSCHE, F. (1977): *Ecce homo*. Frankfurt a. M.  
СМИРНОВ, А. А. (2007): *Литературная теория русского классицизма*. Москва.  
ŠMAJS, J. (2008): *Filosofie – obrat k Zemi*. Praha.  
ŽEMBEROVÁ, V., BILASOVÁ, V. (2008): Poetologický význam a poznávací funkcia hodnoty v umeleckej literatúre. *Opera Slavica*, 3/2008, s. 1–15.

<sup>8</sup> Ничего другого, чем переоценку ценностей и право одиночки на нее, нельзя вычитать из цитаты, взятой из одной из работ Ницше: „Ein andres Ideal läuft vor uns her, ein wunderliches, versucherisches, gefahrenreiches Ideal, zu dem wir niemanden überreden möchten, weil wir niemandem so leicht das Recht darauf zugestehn: das Ideal eines Geistes, der naiv, das heißt ungewollt und aus überströmender Fülle und Mächtigkeit mit allem spielt, was bisher heilig, gut, unberührbar, göttlich hieß; ...“ [Nietzsche 1977: 106].

<sup>9</sup> О «сингулярной перспективе» говорят [Žemberová, Bilasová 2008 3].



ГЕЛЕНА ФЛИДРОВА

Чехия, Оломоуц

## К ГЛАГОЛЬНОМУ ПРЕДИКАТУ С ФАЗОВЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЧЕШСКИМ

### АБСТРАКТ:

The current study investigates the compound verbal predicate with phase verbs in Russian in comparison with Czech (e.g., *Он начал/стал курить – Začal kouřit.*). In Russian, a larger number of phase verbs and higher frequency of their employment within verbal predicate has been established. In Czech, the Russian compound verbal predicate with phase verbs finds its equivalents in different syntactical structures, e.g.: *Банк продолжает наращивать резервы – Banka i nadále zvyšuje zásoby/pokračuje ve zvyšování zásob.* The findings must be taken into consideration in practical translation not only in Russian-Czech translation, but also in the reverse, Czech-Russian one.

### KEY WORDS:

Compound verbal predicate – phase verbs – initial, middle and final phase of action or state – Russian-Czech and Czech-Russian comparison – practical translation.

Изучение русского языка как иностранного связывается с сопоставительным исследованием языков. Русский язык должен усваиваться учащимися на любом уровне обучения на базе родного языка, его системы, с учетом сходств и различий между обоими языками. Для постижения системных отношений в исследуемых языках широкие возможности предоставляет область синтаксиса. Целью сопоставительного исследования синтаксического строя русского и чешского языков, т.е. близкородственных славянских языков, является выявление сходств и различий в структуре русских и чешских предложений и их лексического наполнения.

Есть немало синтаксических явлений, которые интересны с сопоставительной точки зрения. Здесь мы хотим обратить внимание на расхождения между русским и чешским языками в области сложного глагольного предиката с фазовыми модификаторами.

Предикат как главный член предложения представляет собой центр предложения, т.е. связывает все конститутивные члены предложения в одно струк-

турное целое. Кроме предиката, стержневым компонентом предложения являются подлежащее и семантический субъект, который нередко совпадает с подлежащим.

В соответствии с чешской грамматической традицией под предикатом мы подразумеваем как сказуемое в двусоставном предложении, так и единый главный член в традиционных односоставных предложениях (т.е. в предложениях бесподлежащих).

Вследствие структурной разнородности предиката его классификация сложна и неоднозначна. В лингвистической литературе поэтому приводятся разные типы предиката. В зависимости от способов его выражения можно в основном различать: предикат глагольный, связочно-именной, инфинитивный, неглагольный и некоторые специальные типы предиката.

Если глагольный и связочно-именной предикат содержат модальные или фазовые модификаторы в сочетании с инфинитивом полнозначительного глагола или связочно-именного типа, они называются предикатом сложным.

Модальные модификаторы – это глаголы или предикативные наречия с модальным значением. Напр.: *Я могу приехать. Следует подождать. Об этом надо будет подумать. Я хочу быть справедливым.*

Фазовыми модификаторами, которые далее будут в центре нашего внимания, являются фазовые или фазисные глаголы, выражающие начало, продолжение и окончание действия. Они сочетаются только с инфинитивом глаголов несовершенного вида (в отличие от модальных модификаторов, которые сочетаются как с инфинитивом совершенного вида, так и с инфинитивом несовершенного вида). Напр.: *Я стал/начал заниматься атлетикой. Он продолжал стоять в двери своей комнаты. Я уже кончил читать этот роман.*

В русской научной литературе различаются собственно фазовые глаголы, число которых ограничено (*начать – начинать, стать, кончить – кончать, перестать – переставать, продолжать*), и глаголы многозначные, которые в одном из своих значений могут выступать в роли фазовых, например: *броситься, браться, кинуться, пуститься, удариться, оставаться, остаться* и др. [Коваленко 1973]

Конструкции с инфинитивом, выражающие начало действия, богаче конструкций, выражающих его прекращение. Напр.: *начал курить, стал курить; кинулся бежать, бросился бежать, ударился бежать* и т.п., но только *перестал курить, бросил курить* [Виноградов 1947].

В функционально-стилистическом аспекте представляется интересным также исследование возможностей употребления русских глаголов одного фазового значения в разных сферах общения, что трудно прежде всего с сопоставительной чешско-русской точки зрения, т.е. в транслатологической практике при переводе с чешского языка на русский (напр.: *кончить помогать, прекратить помогать*).

Из приведенных русских фазовых глаголов можно сразу сделать вывод об их большем количестве в русском языке по сравнению с чешским. В русской грамматической традиции конструкции с фазовыми глаголами в роли сказу-

емого в двусоставных предложениях подробно рассматривались. В современной чешской научной литературе [напр., Skladba češtiny 1998] фазовым глаголам внимание уделяется прежде всего в рамках комплексного исследования всех средств, передающих данное фазовое значение. Это значит, что наряду с фазовыми глаголами исследуются и средства словообразовательного характера, определенные структурные типы предложений или фразеологические особенности выражения данного фазового значения.

В центре нашего внимания будет далее исследование русских фазовых глаголов в сложном глагольном предикате и их чешских эквивалентов.

1. Фазовые глаголы, указывающие на начало действия или состояния. Как приводилось выше, в русском языке круг этих глаголов намного шире, чем в чешском. В чешском языке начинательное значение передается только глаголами *začít, začínat*. Напр.: *Он начал/стал курить. – Začal kouřit. Производство начало/стало расти. – Výroba začala růst.*

Глагол *statъ*, в отличие от остальных глаголов с начинательным значением, которые представлены в личных и неличных формах обоих видов, сочетается с инфинитивом только в формах настоящего и прошедшего времени (*стану, стал*). В некоторых случаях начинательное значение глагола *statъ* стирается, и на первый план выступает значение модальное, или выдвигается экспрессивная окраска. Напр.: *Я не стану вам объяснять все с начала. – Nebudu/nehci vám vysvětlovat všechno od počátku. Ты молчи, говоришь стану я. – Ty mlč, mluvit budu já.*

Устарелым является редко встречающийся чешский глагол *jmout se*, который встречается только в форме прошедшего времени. Ср., напр., *Jal se plakat a pařikat. – Он начал плакать и кричать.*

Сложные предикаты с разговорными фазовыми глаголами *броситься, кинуться, удариться, приняться, пуститься* и некоторыми другими обозначают не только начало конкретного движения, но и энергичный подход к действию, названному инфинитивом. Их чешскими эквивалентами являются конструкции разных типов. Напр.: *Он бросился/ударился бежать. – Dal se na útěk. Она вдруг пустилась бежать к реке. – Najednou se dala do běhu k řece. Мы кинулись его защищать. – Hned jsme ho začali bránit. Он принялся хохотать. – Začal se smát. Dal se do smíchu.*

Начало действия могут выражать и разговорные сочетания с глаголом *пойти* в прошедшем времени. Напр.: *Пошел работать! – Dej se do práce! Začni pracovat! Она простудилась и кашлять пошла. – Nastydla a začala kašlat.*

Некоторые глаголы, выражающие изменение состояния, в сочетании с инфинитивом теряют свое лексическое значение и приближаются к фазовым глаголам, указывающим на начало действия [Глазман 1964]. Это касается преимущественно глаголов *лечь* и *сесть* в сочетании с инфинитивом цели, которые выступают в качестве целостных привычных сочетаний. Напр.: *Я сяду заниматься. – Začnu se učit. Она села обедать. – Sedla si k obědu. Začala obědvat. Он лег спать. – Šel spát. Uložil se ke spánku. Он прилег отдохнуть. – Šel si odpočinout.*

Такие сочетания, однако, уже не считаются сложным глагольным предикатом, так как инфинитив в них выполняет роль обстоятельства цели. По К. Н. Озолиной [Озолина 1962], в древнерусском языке глаголы *сесть* и *лечь* употреблялись для выражения начинающихся действий и вне сочетаний с инфинитивом категории начинательности не выражали.

**2.** Фазовые глаголы, указывающие на продолжение действия или состояния. В русском языке здесь встречаются глаголы *продолжать*, *оставаться*, *остаться*, *не прекращать*. Напр.: *Банк продолжает наращивать резервы. Хлеба оставались гнить в поле. Собака осталась дожидаться хозяина. Я не прекращал объяснять мои новые взгляды.*

В чешском языке употребляются в этом значении только фазовые глаголы *zůstat* (в сочетании с инфинитивом глаголов состояния) и *nepřestávat*. Чешский глагол *pokračovat* – эквивалент русского *продолжать* – с инфинитивом не сочетается (ср. *он продолжал работать – pokračoval v práci*). Очень часто в чешском языке вместо сложного предиката с фазовым модификатором встречаются или простой предикат в личной глагольной форме, сочетающийся с обстоятельством типа *dál*, *i nadále*, *stále*, или особые структурные типы предложений.

Ср. чешские эквиваленты приведенных примеров: *Банк продолжает наращивать резервы. – Banka i nadále zvyšuje zásoby/pokračuje ve zvyšování zásob. Хлеба оставались гнить в поле. – Obilí dále hnilo na poli. Собака осталась дожидаться хозяина. – Pes stále/dále čekal na pána. Я не прекращал объяснять мои новые взгляды. – Nepřestával jsem vysvětlovat/neustále jsem vysvětloval své nové názory.*

**3.** Фазовые глаголы, указывающие на окончание действия или состояния. Это значение передается русскими глаголами *перестать* (самый частый глагол), *кончить*, *прекратить*, *прекращать* и экспрессивным глаголом *бросить*. Глаголы *кончить* и *бросить* сочетаются с инфинитивом глаголов со значением активной деятельности субъекта. Примеры: *Девочка перестала плакать. Снег перестал падать. Он уже кончил читать. Бросьте подсказывать! Он бросил курить.*

Чешскими эквивалентами приведенных фазовых глаголов являются фазовые глаголы *přestat*, *přestávat* в сочетании с инфинитивом и далее конструкции типа *přestat s něčím*, *skončit s něčím* п. *něco*, *nechat něčeho*.

Напр.: *Снег перестал падать. – Sníh přestal padat./Přestalo sněžit. Он уже кончил читать. – Přestal už číst./Už skončil se čtením. Он бросил курить. – Nechal kouření. Přestal kouřit. Бросьте подсказывать! – Přestaňte napovídat!*

В сложном глагольном предикате часто встречаются одновременно фазовые и модальные модификаторы, которые могут комбинироваться в более сложные структуры.

Напр.: *Он хочет начать учиться петь.* Здесь сложный глагольный предикат состоит из модального модификатора в личной форме и из инфинитива фазового модификатора и полнозначительного глагола. Глагол *петь* в роли

---

К глагольному предикату с фазовыми модификаторами в русском языке в сопоставлении с чешским дополнения. В чешском языке здесь подобная конструкция: *Chce se začít učit zpívat*.

Другие примеры: *Он не мог продолжать говорить от смеха*. Здесь в чешском языке более простая конструкция – сложный глагольный предикат с модальным глаголом и обстоятельство (*Smíchy nemohl dále mluvit.*).

*Он хотел попытаться бросить курить*. В чешском языке здесь возможна или та же самая конструкция (с двумя модальными и одним фазовым модификаторами) – *Chtěl se pokusit přestat kouřit.*, или другая конструкция – *Chtěl se pokusit zanechat kouření*.

Из вышесказанного вытекает, что русскому сложному глагольному предикату с фазовыми модификаторами не всегда соответствует сложный глагольный предикат и в чешском языке. Это касается прежде всего сложных глагольных предикатов с фазовыми глаголами, указывающими на продолжение действия, которым часто в чешском языке соответствуют конструкции с простым глагольным предикатом и обстоятельством или дополнением.

Кроме того, можно было заметить, что в русском языке, по сравнению с чешским, фазовые глаголы представлены в большем количестве и большей разнообразности (это характерно прежде всего для сложных предикатов, выражающих начало действия), что важно в чешско-русском сопоставительном плане при обучении транслатологической практике. Необходимо научить чешских студентов постоянно иметь в виду, что между структурой чешского и русского сложного глагольного предиката с фазовыми глаголами нет прямого соответствия, и поэтому необходимо тщательно подбирать нужные фазовые глаголы и целые конструкции, чтобы правильно перевести этот стержневой компонент предложения с чешского языка на русский.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- ВИНОГРАДОВ, В. В. (1972): *Русский язык*. М.
- ГЛАЗМАН, М. А. (1964): *Зависимость глагольной сочетаемости от лексического значения глагола*. Алма-Ата: АҚД.
- Коваленко, Л. В. (1973): К вопросу об изучении фазисных глаголов в русском языке. In: *Вопросы синтаксиса и лексики современного русского языка*. М.
- ОЗОЛИНА, К. Н. (1962): *Развитие инфинитивных предложений путем обособления объектных инфинитивов*. Ленинград.
- FLÍDROVÁ, H., ŽAŽA, S. (2005): *Синтаксис русского языка в сопоставлении с чешским*. Olomouc: Univerzita Palackého.
- GREPL, M., KARLÍK, P. (1998): *Skladba češtiny*. Olomouc: Votobia.
- KŘÍŽKOVÁ, H. (1962): Значение конструкции «стану + инфинитив». In: *Русский язык в школе*, 1962, № 4, с. 16–19.



ЕЛЕНА ИВАНОВНА КОРЯКОВЦЕВА

*Польша, Седльце*

## **NOMINA ABSRACTA С ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ ФОРМАНТАМИ В РУССКОМ, ПОЛЬСКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ: ОСОБЕННОСТИ МОРФЕМИЗАЦИИ**

### **ABSTRACT:**

Russian, Polish and Czech languages have recently absorbed a great deal of foreign words, mostly from English. The aim of this paper was to describe how these Slavic languages are reacting to the influence of loan words with abstract meanings. What is analytically clear is that there is a tendency towards the internationalization of the Russian, Polish and Czech nomina abstracta.

### **KEY WORDS:**

Nomina abstracta – morphemization – international formants – globalization – convergence.

В современную эпоху, отмеченную «амероглобализацией», наблюдается интенсивное заимствование иностранных слов и морфем в славянские языки. Среди слов-интернационализмов большинство составляют англоязычные научно-технические и экономические термины, пополняющие как конкретную, так и абстрактную лексику (см. [Крысин 1996; Grybasiowa 2003; Lotko 2003]). Попадая в фокус внимания говорящего сообщества, становясь частотными в речевом обиходе, неозаимствования подвергаются морфемизации, а затем создают базу для образования слов-гибридов, включаясь в процессы деривации не только в качестве производящих основ, но и формантов. Морфемизация иноязычных формантов – это длительный процесс, который проходит несколько стадий: 1) иноязычные элементы вычленяются лишь как регулярно повторяющиеся в ряде слов отрезки; 2) на почву языка-реципиента переносятся производящие для слов с данным элементом и возникает структурно-семантическая соотносительность между группами заимствований; 3) от исходных производящих основ образуются единичные дериваты с иноязычным формантом, как правило – окказионализмы; 4) иноязычный формант сочета-

ется как с заимствованными, так и с исконными основами; 5) интенсивно растет словообразовательная активность и продуктивность заимствованных морфем (ср. [Сологуб 2002]). На современном этапе развития славянских языков, когда влияние социокультурных факторов на продуктивность словообразовательных моделей усиливается, процесс морфемизации заимствованных формантов протекает в ускоренном темпе (см. [Коряковцева 2009]).

В данной статье анализируются русские, польские и чешские *nomina abstracta* с новыми интернациональными формантами англоязычного происхождения *-инг/-ing*, *-гейт/-gate*, выявляются особенности морфемизации этих структурных элементов в сопоставляемых языках, определяется степень конвергентности развития новых интернациональных словообразовательных моделей.

1.0 Морфема *-ing* (*-инг*) является интернациональной, поскольку финаль *-ing* правильно вычленяется в составе англоязычных терминов и сходным образом семантически интерпретируется говорящими в большинстве европейских языков (см. [Görlach 1998]). Однако процесс морфемизации англоязычного структурного элемента *-ing* протекает весьма своеобразно и в неодинаковом темпе даже в таких близкородственных языках, как русский, польский и чешский.

1.1. В русском языке первые англицизмы с финалью *-ing* появились в конце XIX века (напр., *митинг*). В 40-е гг. XX века функционировали серии слов с этой финалью, через несколько десятилетий словарями русского языка фиксируются уже более 100 существительных на *-инг*, обладающих односторонней суффиксальной мотивированностью (2-я стадия морфемизации). В основном это были термины, относящиеся к тематическим группам «спорт» (*айсинг*, *допинг*, *джоггинг*), «военно-морское дело» (*бафтинг*, *браунинг*), «техника» (*антифидинг*, *рисайклинг*), «экономика» (*демпинг*, *лизинг*, *маркетинг*), «животноводство» (*аутбридинг*, *ауткроссинг*), «медицина» (*аутотренинг*, *скрининг*) и т.д. (см. [Боброва 1980]). На рубеже XX – XXI вв. речевая активность *nomina abstracta* с финалью *-инг* резко возросла под влиянием медиатекстов, насыщенных множеством англоязычных терминов (более 300 слов, по данным ССИС 2005), ср.: *бодибилдинг*, *боулинг*, *брифинг*, *(винд)сёрфинг*, *дайвинг*, *драйвинг*, *заптинг*, *инжиниринг*, *кастинг*, *кикбоксинг*, *клиринг*, *консалтинг*, *лизинг*, *лифтинг*, *маркетинг*, *мониторинг*, *паркинг*, *пирсинг*, *пилинг*, *рейтинг*, *роуминг*, *скайтинг*, *туринг*, *тьюнинг*, *холдинг*, *хостинг*, *франчайзинг*, *шоппинг* и др.

«Инговое цунами» заимствований и англо-американомагия современных российских СМИ способствовали полному усвоению суффикса английского герундия *-ing* и превращению его в терминопредмет с автономным процессуальным значением (5-я стадия морфемизации), который регулярно присоединяется к основам существительных, способствуя появлению многочисленных иронических и каламбурных неологизмов-*nomina actionis* в текстах СМИ и в репликах участников интернет-форумов, ср.: *бабинг*, *барабанинг*, *блевотюнинг*, *блюдолизинг*, *ведьминг*, *лизоблюдинг*, *мужикинг*, *подлизинг*, *пляжинг*, *плясинг*, *сексинг*, *шакалинг* и др.

1.3. Имена действия с финалью *-ing* являются модными и достаточно употребительными также в польском и чешском языках, однако в польском языке словообразовательная активность этой финали практически равна нулю, несмотря на значительное число англицизмов (110), из которых 16 были заимствованы вместе с однокоренными словами, ср.: *menedżering – menedżer, snowboarding – snowboard, rapping – rap, banking – bank, kanioning – kanion, monitoring – kanion, sponsoring – sponsor, spaming – spam* и др. Хотя англицизмы с финалью *-ing* известны польскому языку, по крайней мере, с середины XX века, однако, по данным К. Вашаковой [Waszakowa 2005: 116], к началу XXI века на исконной базе не было образовано ни одного деривата на *-ing*. Таким образом, морфемизация суффикса английского герундия в польском языке остановилась на второй стадии.

1.4. В чешском языке немногочисленные англицизмы типа *dispatching* (‘ústřední řízení železniční dopravy’, 1930), *trening* (1926), *yachting* (1936) [Databáze 2005–2009]), в основном – термины, появились в первой трети XX века, однако это были морфологически изолированные трансплантаты, употреблявшиеся крайне редко. В качестве суффиксального форманта элемент *-ing* в чешском языке того периода словообразовательной активности не проявлял.

В современном чешском языке слова на *-ing* активно используются в компьютерном жаргоне, причем часто возникает своеобразная корреляция так наз. „ing-forem“ и отглагольных имен действия на *-ání*, напр., *rendering – renderování, streaming – streamování, trening – trenování* (см. [Písková 2007]). Существование таких синонимических пар обуславливает одностороннюю аффиксальную мотивированность «инговых форм», способствует появлению в сознании носителей чешского языка эталона суффиксальной морфемы *-ing*. Показательно, что наряду с трансплантатами типа *restyling, holding, paragliding, peeling, rafting, rating* употребляются также транскрибированные слова на *-ink*: *marketink, mítink, šejpink, šopink*, фиксируемые в словарях без стилистических помет. Как и формант *-ing* в русском языке, изофонный чешский структурный элемент *-ink* проявляет деривационную активность, однако с его помощью от исконно чешских основ образуются лишь единичные nomina actionis со значением процесса или состояния – окказионализмы типа *ležink* (ср. рус. *лэжинг*), *pivink* (ср. рус. *пивинг*) [Databáze 2005–2009]. Таким образом, в отличие от русского языка в чешском структурный элемент *-ing/-ink* находится лишь на 3-ей стадии морфемизации.

2. В постсоциалистических СМИ славянских стран, открыто провозглашающих акцент на негативных сторонах действительности как принцип своей деятельности, особое место занимает скандальная информация, поскольку она мгновенно находит эмоциональный отклик у потребителей продукции масс-медиа. Использование в текстах СМИ неологизмов со структурным элементом *-gejm/-gate* в значении ‘скандал’ можно расценить как манипулятивный ход, рассчитанный на привлечение внимания аудитории. Степень морфемизации и – прежде всего – формальной адаптации структурного элемента *-gate*, своеобразного маркера скандала, в сопоставляемых славянских языках неодинакова.

2.1. В русском языке он употребляется в транскрибированной форме, неологизмы с финалью *-гейт* являются названиями политических скандалов, связанных а) с известными персонами (рус. *Бушгейт*, *Моникагейт*, *Шеригейт*, *Путингейт*, *Медведевгейт*), б) с объектами скандала (*порногейт* ‘скандал, связанный с распространением порнографии’) или в) с местом (страной, городом, резиденцией правительства: рус. *Еврогейт*, *Ирангейт*, *Казахгейт*, *Каспийгейт*, *Кремльгейт*, *Пермьгейт*). См.: «... скандал в Казахстане, получивший в западной прессе название «**Казахгейт**» [Независим. газета, 17.01. 2001]; «**Порногейт** рассорил Латвию с «диктаторским режимом» [02.08.2006, [www.utro.ru/articles/2006/08/02/571056.html](http://www.utro.ru/articles/2006/08/02/571056.html)]. Ср. также: «**Польский сексогейт**» [[www.vremya.ru/2006/225/5/166727.html](http://www.vremya.ru/2006/225/5/166727.html)]; *Путин и Буш – «Дело Разведгейта»* [ИноСМИ.Ru, [www.gr-sila.ru/document\\_id89.html](http://www.gr-sila.ru/document_id89.html)].

Активное словопроизводство с помощью интернационального суффиксоида *-гейт* (4-я стадия морфемизации) объясняется удобством его использования для образования наименований-компрессатов: в семантической структуре производных слов *-гейт* передает родовое понятие ‘скандал’, тогда как производящая основа выступает в качестве видовой характеристики: ‘скандал’ – финансовый (*кризисгейт*), политический (*Путингейт*), энергетический (*нефтегейт*), сексуальный (*сексогейт*, *порногейт*).

2.2. В западнославянских языках – польском и чешском – суффиксоид *-gate* используется значительно менее активно, чем в русском языке, причем он так и не подвергся фонетико-орфографической ассимиляции, оставшись трансплантантом. С помощью суффиксоида *-gate* созданы немногочисленные дериваты (3-я стадия морфемизации), ср., напр.: польск. *ropagate*, *telegate* (около 30 слов – по подсчетам К. Вашковой), чешск. *Judrgate*, *ropagate*, *sexgate/sexygate*, *Wallisgate*, *Zipgate*, *Zippergate* (в [Databáze 2005–2009] отмечено всего 10 слов).

Несмотря на частичную ассимиляцию заимствований типа *Monicagate* (ср. *Monika-gate*), а также активное использование неодериватов с суффиксоидом *-gate* в текстах масс-медиа, этот структурный элемент в западнославянских языках, вероятно, сохранит и в дальнейшем свою англоязычную оболочку (ср.: [Waszakowa 2005: 156–158]). Очевидно, приоритетное употребление на письме трансплантантных форм с финалями *-ing*, *-gate*, являющееся следствием искусственного торможения их морфемизации, обусловлено своеобразным пиететом образованных поляков и чехов по отношению к престижному языку «глобализатора» новейшего времени – США.

Носители современного русского языка, несмотря на усилия федеральных средств массовой информации, в основном такого пиетета к англо-американским, как и к американской культуре в целом, не испытывают, ср. реплики на интернет-форумах: «*Американизация плюс идиотизация всей страны*». Более того, создаётся впечатление, что «*идиотизация*» населения носит преднамеренный характер и управляется кем-то сверху» [[www.tr.rkrp-rpk.ru/get.php?1164](http://www.tr.rkrp-rpk.ru/get.php?1164)].

Высокая словообразовательная активность интернационального суффикса *-ing* в современном русском языке объясняется не пиететом в отношении английского языка и американской культуры, а своеобразной языковой игрой, которой захвачена лингвокреативная часть российского общества (в основном молодежь и журналисты). Активное употребление элемента *-гейт* в последние несколько лет обусловлено ростом популярности скандальной информации в российских СМИ: неологизмы-компрессаты с суффиксоидом *-гейт* используются для так наз. «новостного вброса» скандалов в медиальные тексты.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- БОБРОВА, А. В. (1980): Существительные на *-ing* в русском языке. In: *Русский язык в школе*. №3. М.
- GÖRLACH, M. (1998): The Usage Dictionary of Anglicisms in Selected European languages: a report on progress, problems and prospects. In: *Barcelona: links and letters*, № 5.
- GRYBASIOWA, A. (2002): Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku (na materiale polskim). In: J. Siatkowski i zespół (eds.): *Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo*. Warszawa, s. 75–82.
- LOTKO, E. (2003): Co a jak ovlivňuje inovační procesy ve slovní zásobě. In: Z. Rudnik-Karwatowa (ed.): *Procesy innowacyjne w językach słowiańskich. Prace Slawistyczne 114, SOW*. Warszawa, s. 101–115.
- КОРЯКОВЦЕВА, Е. (2009): Продуктивные словообразовательные модели nomina abstracta: социокультурная и системная детерминированность функционирования. In: В. Радева, Ц. Аврамова, Ю. Балтова (eds.): *Словообразуване и лексикология*. София, с. 237–247.
- КРЫСИН, Л. П. (1996): Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни. In: Е. А. Земская (ed.): *Русский язык конца XX века*. М., с. 142–161.
- PÍSKOVÁ, R. (2007): *Utvářenost lexikálních jednotek v komunikační oblasti informačních technologií*. Brno: ÚCJ MU.
- СОЛОГУБ, О. П. (2002): *Усвоение иноязычных структурных элементов в русском языке*. Новосибирск URL: <http://www.philology.ru/linguistics2/sologub-02.htm>
- WASZAKOWA, K. (2005): *Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny*. Warszawa: WUW.
- ССИС 2005: БАШ, Л. М., БОБРОВА, А. В. (2005): *Современный словарь иностранных слов*. М.
- Databáze 2005–2009: *Databáze heslářů slovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky*. URL: <http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/search.php>



ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА МАРЧЕНКО

*Россия, Москва*

## СЛОВОТВОРЧЕСТВО В РУНЕТЕ КАК СПОСОБ ТЕСТИРОВАНИЯ ЯЗЫКА НА СЛОВООБРАЗОВА- ТЕЛЬНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЛЕКСИЧЕСКУЮ ЛАКУНАРНОСТЬ

### ABSTRACT:

Word formation is very popular in the Runet. A new way of searches for blank semantic spaces and lexical voids in Russian in order to fill them with new lexical-semantic units is introduced in the Internet dictionary "A Gift of a Word: A Lexicon of Neologisms" by M. Epstein. Analysis of the words, which were created in the semantic fields "Time" and "Love", shows that derivation system of modern Russian is a productive system with high potential possibilities and that Russian semantic space is opened for filling it with new senses.

### KEY WORDS:

Word formation – lexical voids – blank semantic spaces – time – love – new words – derivation system – productiveness – meaning – new senses – concept.

Русскоязычный интернет немислим без словотворчества. С одной стороны, слова создаются на форумах в процессе живого общения как результат необходимости обозначить обсуждаемые понятия или реалии, для которых до сих пор не было, по мнению их создателей, удобного, точного обозначения (*замкадье, френд-политика, политлингвистика* и др.). С другой стороны, в Рунете можно найти многочисленные образцы сознательного авторского словотворчества, а также обнаружить попытки придать процессу лексического пополнения языка управляемый характер.

Один из способов расширения словарного состава современного русского языка предложен в *сетевом проекте* филолога, философа, культуролога *Михаила Эпштейна* «Дар слова. Проективный лексикон», который выходит с 17 апреля 2000 года по настоящее время, т.е. является действующим (<http://old.russ.ru/antolog/intelnet/daro.html>). Представленный в проекте тип словотворчества, являющийся концептуально сознательным, позволяет определить уровень потенциальной продуктивности словообразовательной системы русско-

го языка и выявить те пустоты в языковом пространстве, которые могут быть проницаемы для новых лексических единиц. Рассмотрим, как используются возможности словообразовательной системы при создании **простых и сложных слов с русскими и заимствованными корнями** и как формируется значение нового слова на примере образцов, покрывающих наиболее репрезентативные для решения этой задачи смысловые зоны «**время**» и «**любовь**», а также отдельных слов, выражающих другие смыслы.

Среди **простых слов**, представляющих смысловую зону «**время**», самую большую группу составляют глаголы, обозначающие **действия и модификации действий**, так или иначе связанные с категорией времени. Сконструированные на основе существующей в языке **лексемы-прототипа**, они фактически представляют **действие через категорию времени**: *времить* (*времлю, времлешь*) – ‘внимать времени’, ‘чутко воспринимать его ход, обладать обостренным чувством времени’ (слово-прототип: *внимать*); *временить* – ‘подвергать действию времени, превращать нечто во время или в часть времени, придавать чему-то свойства времени’ (слово-прототип: *воплотить*); *временеть* – ‘врастать во время, становиться частью времени, вступать в состояние временности, подвергаться действию времени’ (слова-прототипы: *пламенеть, каменеть, деревенеть*) и др. Далее от них по существующим в языке словообразовательным моделям образуются производные, обозначающие различные **модификации глагольного действия**, которые, в свою очередь, коррелируют с соответствующими семантическими и словообразовательными образцами, являющимися прототипическими для вновь образованных слов: *овремить* – ‘выразить, воплотить во времени, дать своевременное выражение чему-либо’ (слова-прототипы: *озвучить, огласить, обнародовать*); *овремениться* – ‘войти во время, стать частью времени’ (слово-прототип: *воплотиться*); *завремить* – ‘заклинить, застопорить ход времени’ (слово-прототип: *заклинить*); *извременить* – ‘испещрить следами, знаками времени’ (слово-прототип: *изъезть* (напр. о моли)); *развременить* – ‘вывести из хода времени, оградить от его воздействия, устранить состояние временности’ (слова-прототипы: *разминировать, размагнитить*) и др.

Смыслы, выражаемые этими глаголам, формируются на основе значений **слов – словообразовательных и семантических прототипов** как результат вытеснения значения старого корня с последующей заменой значением нового. При этом «**каркас значения**» сохраняется. «**Микширование значений**» внутри одной лексической единицы ведет к созданию **слов-метафор, слов-образов**, обозначающих действия, значение которых метафоризировано через образ времени. Формальный облик этих слов рождает семантические ассоциации, которые создают основу для восприятия нового слова, и, следовательно, для его дальнейшего функционирования в языке.

Другой способ словообразовательной модификации глагольного действия – **расширение набора производных от реально существующих в языке слов**: *залюбить* – ‘известить, истомить, замучить любовью, довести до высшего блаженства или крайнего изнеможения’; *налюбоваться* – ‘полностью

удовлетвориться или насытиться любовью»; *улюбить* – ‘довести любовью до крайности’.

Весьма продуктивным способом образования новых слов может стать **нулевая суффиксация**. Об этом свидетельствует ее широкая представленность в различных смысловых зонах «Проективного лексикона», а также популярность подобных новообразований в русской поэзии 20 века: *любовь* – ‘состояние всеобщей любви, любовь как космическая стихия и измерение’; *нехоть* – ‘состояние, когда ничего не хочется, нежелание, отсутствие полового влечения и всяких других влечений, составляющая депрессии’; *нежилы* – ‘нежилое место, разор, запустение, разруха, отсутствие условий для жизни, неспособность создавать уют’ и др. Высокая репрезентативность новообразований подобного типа в разных смысловых зонах, доказывает, что **корнесловие** (термин автора проекта) – оголение слова до корня, превращение корня в слово – вполне в духе русского языка, что подтверждается и русской поэтической традицией.

**Сложные слова** создаются по имеющимся в языке лексическим образцам. При этом облик нового сложного слова формируется на основе формальной замены первой части слова-прототипа каким-либо другим словом, а его значение соответственно на основе вытеснения значения этой части значением слова-заменителя. Среди сложных слов смысловой зоны «время» представлены **слова-состояния**: *времябесие, времябоязнь, времязависимость, времялюбие, времястрастие, времяпоклонство, времяугодничество*; **слова, обозначающие структуру и движение времени**: *времядоля, времяраздел, времярубка, времярезка, времяворот, времяпад, времяизвержение, времяточина, времятворение*; **слова с терминологическим значением** (образованные по аналогии с уже имеющимися в разных областях знаний терминами): *времяведение, времяотвод, времялечение, времявладение, времяпользование, времяизмещение*; **слова-названия лиц**: *времялюб, времяпоклонник, времяугодник, времяед* и др.

Слова смысловой зоны «время», составленные из **иностранных корней**, либо выражают **новые терминологические значения из области психиатрии**: *хронофобия* – ‘состояние мрачно настроенных, постоянно ожидающих неприятностей людей’; *хронопатия* – ‘аномалия, патология в протекании времени либо в способности его ощущения, расстройство временных процессов человеческой деятельности, нарушение связей между объективным и субъективным временем’; *хрономания* – ‘одержимость ходом времени, стремления успевать, опережать, догонять и перегонять как главная жизненная установка’; либо **философско-культурные и политические понятия**: *хроноцид, хроностаз, хронофаг*. Слова первой группы образуются по аналогии с имеющимися в языке медицинскими терминами по уже описанному принципу, в основе которого лежит корневая замена. Они обозначают **патологические состояния психики**, происхождения которых связано с различными особенностями преломления в сознании временных процессов.

Сравнение новообразований от слова «время» с новообразованиями от слова «любовь» показывает, что характер выражаемых производными словами

значений зависит от категориальной семантики слова, которое становится объектом словообразовательного эксперимента. Очевидно, что производные от слова «время», которое обозначает одну из общефилософских категорий, в большинстве случаев являются словами-концептами, словами-терминами. От слова «любовь», называющего чувство-экзистенциальный концепт, образуются производные, выражающие оттенки этого чувства, его разновидности, порождаемые этим чувством состояния, например, значение состояния, связанного с вариантами проявлением чувства любви: *безлюбье* – ‘отсутствие любви и тех, кто ее достоин, обстоятельства, когда некого любить и не от кого ждать любви’; *предлюбие* – ‘преддверие, предчувствие, предвкушение любви’; *последлюбие* – ‘ощущение, возникающее после острого периода влюбленности’; *любье* – ‘приволье, раздолье для любви’; *любье-разлюбье* – ‘вольные нравы, обилие возможностей, раздолье для любовных связей и отношений’; разгульный, беспорядочный образ жизни’; *улюбье* (ср. *удушье*) – ‘любовное похмелье, изнеможение, угар, последствие чувственных эксцессов’ и др.

Обыгрывание сходно звучащих, но разных по значению слов рождает **новообразования-каламбуры**, прозрачные по своему значению: *отравоядные* – ‘едащие отраву, живые существа, привыкшие к вредной, недоброкачественной пище’; *люблюдок* – ‘человек, стремящийся выдать похоть или корысть за подлинную любовь и таким образом добиться успеха’; *настоящее* – ‘настоящее, которое томит нас’.

Легко рождаются в языке **слова-оксюмороны**: *смертозoid* – ‘единица влечения к смерти’; *смертозой* – ‘эпоха массовых убийств’; *мертвозивчик* – ‘живучий носитель и множитель смерти, существо, которое живёт и оживляется смертью других’; *солночь* (*гибрид солнца и полночи*) – ‘яркая тьма, черное солнце, сияние мрака’; *глокальный* (*глобальный + локальный*) и др.

Таким образом, анализ авторского словотворчества в рамках проекта «Дар слова» показывает, что выражение новых смыслов описанными способами – в значительной степени следствие процесса **языковой концептуализации субъективно-авторских представлений**, в формальной основе которого лежит использование **словообразовательной модели** (структуры) слова как **источника** (фундамента) **семантического креатива**. В данном случае именно **узуализация формального образа** уже имеющегося в языке слова, простое наполнение новыми элементами старых словообразовательных моделей открывает возможность для выражения новых смыслов в языке. Анализ семантических толкований вновь созданных слов показывает, что их значения часто являются выражением **сложных, поликомпонентных смыслов**, которые **аллюзируют к историческому, политическому, философско-культурному пространству**. Многие из них можно обозначить как **слова-концепты**, выражающие, с одной стороны, авторское, субъективное восприятие реальности, выходящее за рамки чисто языкового осмысления, с другой стороны, порождающие **новые идеи-образы**, заключенные в одном слове.

ЕЛЕНА МАРКАСОВА

Россия, Санкт-Петербург

## МАРКЕРЫ ИСКРЕННОСТИ В ЯЗЫКЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (признаться сказать, говоря по совести, по чести говоря, честно говоря)<sup>1</sup>

### ABSTRACT:

The paper deals with the group of linking constructions reflected by informants as unpopular, rarely useful, strange etc. The article is based on the data of the Speech Corpus of the Russian everyday communication “One speaker’s day”, the National Corpus of Russian Language and the questioning informants data.

### KEY WORDS:

Linking constructions – communication – colloquial speech – spontaneous speech – sincerity – speech manipulation.

**О. Вводные замечания.** Наша работа посвящена вводным конструкциям, встречающимся в речевых актах признания и, как прочие подобные им коммуникативы, маркирующим искренность (честность) говорящего. Речевой акт *признание* («доверительное либо вынужденное сообщение говорящего лица о себе и/или близких ему людях» [Брагина 1999: 98]) может оформляться разными способами и указывать на тонкие различия в отношении говорящего к разным ситуациям. Искренность адресанта может проявляться при этом по-разному, а само признание может оказаться манипулятивным речевым актом. [Экман 2000; Мягков 2003; Знаков 1999]. Лингвистами описаны глаголы, обозначающие речевой акт именно как акт признания [Вежицка 1968; Гловин-

<sup>1</sup> Эта работа выполнена при поддержке гранта РГНФ «Разработка информационной среды для мониторинга устной русской речи» (09-04-12115в) и продолжает серию статей, посвященных бытованию вводных конструкций в современном русском языке [Маркасова 2008, 2009]. В статье мы намеренно не рассматриваем функционирование маркеров искренности в письменной практике повседневного общения: языке форумов и блогов, объявлений и рекламы.

ская 1993] и вводные слова и конструкции, маркирующие этот акт<sup>2</sup> [Брагина 1999].

**1. Подход к материалу.** Участникам экспериментального опроса был предложен стандартный список вводных конструкций, изучаемых на уроках русского языка в средней общеобразовательной школе [Маркасова 2009]. Рефлексивы (высказывания эмоционального, логического, аксиологического характера, содержащие характеристику языковых фактов) послужили основанием для выбора подхода к материалу. Для того чтобы выявить сферу «живого интереса» наших информантов, мы предложили информантам обдумать свое отношение к вводным конструкциям, указать пути совершенствования преподавания этой темы, дать рекомендации по поводу расширения или сужения исходного списка. При желании можно было объяснять (или не объяснять) свою позицию. Затем на основе систематизации полученных ответов мы выявили список вводных конструкций, которые нуждаются в интерпретации, и только после этого конкретизировали задачи их анализа и сформулировали тему статьи.

Характеристики информантов, участвовавших в анкетировании в 2006–2009 гг., не были статистически обработаны, потому что состав информантов не сбалансирован: это петербуржцы, петрозаводчане, архангелогородцы, мурманчане 1986–1994 г.р.<sup>3</sup>, обучающиеся в школах и вузах. Возраст опрошенных не превышал 23 лет. Общее количество – 200 человек. Поскольку состав группы недостаточно разнообразен по возрасту, роду занятий, месту жительства и пр., нельзя считать, что результаты опроса отражают общее мнение говорящих на русском языке о современном употреблении вводных конструкций. Однако анкеты позволяют увидеть своеобразие интуитивного подхода молодежи к исследуемым вводным конструкциям и заставляют обратить внимание на некоторые тенденции их бытования в повседневном общении и письменных текстах.

В качестве источников для поиска конструкций, получивших комментариев информантов, были использованы Национальный корпус русского языка (НКРЯ) и «Звуковой корпус русского языка повседневного общения «Один речевой день» (ОРД), создаваемый лингвистами в СПбГУ. [Asinovskiy, Bogdanova, Rusakova 2008; Sherstinova 2009]. В ОРД на 01.10. 2009. представлены записи живой речи 40 информантов (20 мужчин и женщин), всего 535 часов звучания. Кроме диктафонных записей мы использовали орфографическую рас-

<sup>2</sup> В зависимости от семантики Н. Г. Брагина разделяет группу анализируемых ею коммуникативов (*честно говоря; честно признаюсь; признаюсь откровенно; должен (на) признаться; надо признаться; надо сказать; по правде говоря; по правде сказать; откровенно говоря; признаюсь; сознаюсь; скажу по совести; сказать по совести; положить руку на сердце; не скрою; чего скрывать; каюсь; грешным делом; стыдно признаться; если честно стыдно сказать; если честно, грешник; мой грех; есть грех; был грех, признаю; надо признать; нужно признать; необходимо признать; следует признать; что греха таить; нечего греха таить; чего греха таить*) на два блока: «доверительные» и «вынужденные».

<sup>3</sup> Я очень признательна ученикам Академической гимназии СПбГУ, студентам СПбГУ, коллегам А. Н. Колоскову, Л. А. Спиваковой, Н. Э.Фаликовой за помощь в проведении опроса.

шифровку 40 часов звучания, в которой насчитывается около 225 тысяч слов. В корпусе около 3000 проаннотированных эпизодов, разделенных на группы 1) завтрак; 2) домашние разговоры, утро; 3) в гостях у друзей, утро; 4) работа дома за компьютером; 5) дорога на работу/мероприятие; 6) работа/учеба; 7) обед; 8) застолье на работе; 9) посещение сервисных служб и госучреждений; 10) покупки; 11) прогулка; 12) посещение врачей; 13) хобби/спорт; 14) общественные мероприятия; 15) дома днем; 16) на даче и т.д. [Шерстинова 2008]

**2. Цель работы и исходные данные.** Цель работы – на основе сопоставления рефлексивов с данными НКРЯ и ОРД выяснить, как маркеры искренности воспринимаются носителями языка, на что ориентируются информанты в своих оценках и как их субъективные суждения соотносятся с объективными данными?

Просматривая анкеты информантов, мы обратили внимание на удивительную готовность к отрицанию нужности (а также смысла, коммуникативной целесообразности и прочее) многих конструкций, казавшихся нам стандартными. Так, в группе вводных конструкций, которые считаются указывающими «на приемы и способы оформления мыслей, на экспрессивный характер высказывания»<sup>4</sup> живую реакцию информантов вызвали вводные конструкции *признаться сказать, по чести говоря, честно говоря, говоря по совести*.

По поводу выражения *признаться сказать* было сказано: «звучит коряво», «вообще ужасно звучит», «малоупотребительно», «считаю устар.», «в обычной речи не употребляется», «сочетаемость слов плохая, считаю неупотребимым и грамматически некорректным», «не знаю, кто так говорит», «такого не слышал», «бред».

Многие информанты остановили свое внимание на конструкции *по совести говоря*: «очень для СССР», «очень странное», «так уже не говорят», «я не слышал».

Похожие суждения сопровождали попытку удалить из обращения конструкции *по чести говоря* («тяжело проговаривается», «теперь нету такого понятия», «редко используется», «очень для 18 века», «устарело», «я не употребляю») и *честно говоря* («устар.», «это редко так говорят», «странное выражение, потому что значит, что ты все говорил нечестно, а стал честным», «я так не говорю, но иногда слышу», «Понятно, что такое «честно говоря», но все равно лучше сказать «по чесноку»).

Внешне (при всей умиляющей наивности) оценка выражения *признаться сказать* выглядит вполне обоснованно: действительно, его можно услышать крайне редко. Суждение о том, что выражение *по чести говоря* устарело, не вызывает желания спорить, хотя мотивация – «теперь нету такого понятия»

<sup>4</sup> Мы взяли за основу перечень вводных слов и словосочетаний из вузовского учебника [Валгина 1991], дополнили его некоторыми данными из справочника Д. Э. Розенталя [Розенталь 1999]. (В анкете в составе этой группы были перечислены: *словом, одним словом, короче говоря, вообще говоря, иначе говоря, так сказать, другими словами, иными словами, лучше сказать, грубо выражаясь, мягко выражаясь, по правде говоря, между нами говоря, смешно сказать, сказать по совести, сказать по чести, честно говоря, по совести говоря, по чести говоря, признаться сказать*).

– тоже кажется наивной. **По совести говоря**, своеобразно оцениваемое как «очень для СССР», и в самом деле редкость. Но можно ли всерьез прислушаться к странному мнению, что **честно говоря** – «устар.»?

**3. Особенности бытования конструкций по данным ОРД.** Конструкции **признаться сказать, по чести говоря, по совести говоря** в звуковом корпусе русского языка повседневного общения ОРД не зафиксированы.

**Честно говоря** и его вариант (**если**) **честно** функционируют довольно однообразно. Примеры из корпуса ОРД сопровождаются указанием номера информанта (И – «информант», 1 – его номер и т.д.) и передаются без знаков препинания, как в орфографической расшифровке корпуса. Обнаружены 10 случаев включения в текст конструкции **честно говоря**, причем ее трудно (а порой невозможно) рассматривать как маркер искренности. Так, в примерах 1 и 2 это, видимо, заменитель паузы hesitation:

И1 да ну не знаю / **честно говоря** не помню // [1]

И1 я **честно говоря** // во-первых ну я могу конечно показать вам эти анкеты [2]

В примере 3 мнение адресанта, не соответствующее ожиданиям адресата, сопровождается маркером искренности **честно говоря**, за счет чего (вместе с формой сослагательного наклонения и глаголом «предпочел» (при возможных в этой ситуации формах «хочу» или «хотел бы») происходит снижение конфликтности высказывания:

И1 случай / скажем так не самый простой // я бы **честно говоря** предпочел / чтобы этим занимался штатный // [3]

Конструкция **честно говоря** служит интимизации общения в репликах И15 (примеры 4, 5), информанта, любящегося своим состоянием и возможностью вести себя с друзьями абсолютно искренне, открыто. Это молодой человек, получающий высшее образование, почувствовавший себя «взрослым», которому можно выпить и даже напиться, то есть, как это любят делать дети, ощутить себя «великим грешником».

И15 у меня вот **честно говоря** / желание / только <...> / пойти (...)  
влить / в себя что-нибудь ... / чтоб повеселело / [4]

И15 если я сейчас / мне в падлу / до магазина дойти / купить себе какого-нибудь пошла <...> / **честно говоря** // [5]

Этому же информанту принадлежит автохарактеристика:

«да я алкоголик / <...> я алкаш // <...> я алкаш <...> / **честно признаться** знаешь так /» [6]

Эти примеры эпатажных высказываний, не являются «вынужденным признанием», и, видимо, не могут оцениваться как «доверительное признание», определяемое как «признание в нестандартном оценочном и эмоциональном отношении к чему-либо» [Брагина 1999: 99]. Демонстративность поведения заставляет усомниться в том, насколько искренне И15 выражает свою позицию, называя себя «алкашом».

Примеры 6, 7, 8 интересны тем, что **честно говоря** выступает в них как показатель искренней солидаризации с чужими желаниями или действиями, объективно не требующими, как нам кажется, использования этой конструкции и оформления своей позиции в виде акта признания.

И21 я тоже **честно говоря** с удовольствием кофе бы попил // [6]

И21 потихоньку прижимаются эти игровые фигови // давно пора / **честно говоря** // [7]

И26 по-моему попьем и не умрем // **честно говоря** / я дома тут при-  
страстился тоже Нурю пить // [8]

Лишь примеры 9 и 10 могут быть охарактеризованы как репрезентирующие речевой акт признания. Так, И28, вероятно, понимает, что он должен знать фамилию некоего Коли, но не соответствует собственным представлениям о должном:

И28 а Коля / я не знаю какая у него фамилия **честно говоря** // [9]

Пример 10 (разговор о смысле приобретения книг) показывает, что И28 осознает собственные разногласия с друзьями, но смягчает ощущение осуждения использованием маркера искренности. Подобные случаи описаны Н. Г. Брагиной, которая приводит пример «Фильм нудный и страшно затянут. – Правда? А мне, **честно говоря** (по правде говоря), понравилось.» [Брагина 1999: 101].

И28 у меня многие друзья / как только корешки книг / не книги покупают / корешки книг // <...> не знаю / я вот второй раз смотреть **честно говоря** н... н... не / [10]

Еще 3 примера мы считаем дополнительными вариантами выражений со словом **честно** (*честно признаться, честно говоря, честно сказать*). Это примеры доверительного признания: И4 *что-то мне тут ничего не нравится / **если честно** // [11]*; И11 *я...я ? я вообще не хочу / если бы я хотела / **честно** // я хотела пива // [12]* ; И28 *а / да / **если честно** сейчас уже лучше стало действительно // [13]*.

**4. Особенности функционирования конструкций по данным НКРЯ.** Если ориентироваться на сведения НКРЯ, оказывается, что вводные конструкции, служащие показателем искренности, встречаются редко. «Лидерами» среди них являются *честно говоря* (контекстов 1389, документов 817) и *надо сказать* (контекстов 3512, документов 1833).

В приведенной таблице, составленной на основе НКРЯ, показано количество документов и контекстов для исследуемых конструкций.

Вводная конструкция	Количество документов и контекстов	Самое раннее из отмеченных в НКРЯ
<i>честно говоря</i>	документов 817, контекстов 1389.	1928 А. А.Татищев
<i>признаться сказать</i>	документов 79, контекстов 107	1833 Бестужев-Марлинский
<i>говоря по совести</i>	документов 31, контекстов 33	1790–91 Радищев
<i>по совести говоря</i>	документов 69, контекстов 80	1846 Достоевский
<i>скажу по совести</i>	документов 19, контекстов 21	1844 Панаев

<i>сказать по совести</i>	документов 30, контекстов 35	1849–1856 Греч
<i>по чести говоря</i>	документов 9, контекстов 9	1927–28 Набоков
<i>говоря по чести</i>	документов 4, контекстов 4	1963 Стругацкие
<i>честно признаюсь</i>	документов 36, контекстов 42	1960–2000 Розов
<i>признаюсь откровенно</i>	документов 29, контекстов 30	1822 Нарезный
<i>честно сказать</i>	документов 162, контекстов 198	Крестовский
<i>надо сказать</i>	документов 1833, контекстов 3512	(1770–1811) Загряжский
<i>по правде говоря</i>	документов 204, контекстов 314	1863 Чернышевский
<i>по правде сказать</i>	документов 281, контекстов 394	1788–1822 Долгоруков
<i>откровенно говоря</i>	документов 314, контекстов 474	1833 Бестужев-Марлинский
<i>положа руку на сердце</i>	документов 136, контекстов 149	1805 Дашкова
<i>чего скрывать</i>	документов 30, контекстов 30	1869 Крестовский
<i>грешным делом</i>	документов 132, контекстов 165	1863 Писемский
<i>стыдно признаться</i>	документов 103, контекстов 106	1834 Загоскин
<i>надо признать</i>	документов 406, контекстов 526	1826–1905 Гершензон
<i>нужно признать</i>	документов 122, контекстов 166	1812 Дурново
<i>необходимо признать</i>	документов 75, контекстов 93	1829–31 Чаадаев
<i>следует признать</i>	документов 290, контекстов 377	1839 Остроградский

Для сравнения приведем другие данные: для слова «во-первых» в НКРЯ обнаружено 12925 контекстов (5829 документов), для слова «наверное» – 23 322 контекста (5612 документов), для слова «конечно» – 95089 контекстов (13916 документов). Ни у кого из информантов, отметим, не было желания «изъять» из учебников или живой речи слова *во-первых*, *наверное*, *конечно* и многие другие конструкции.

Можно убедиться в том, что маркеры искренности, судя по данным НКРЯ, уходят из языка.

**Заключение.** Итак, языковое чутье не подводит носителей языка: данные опроса частично подтверждаются данными корпусов (НКРЯ и ОРД) и отражают живые языковые процессы: уход ***признаться сказать, по совести говоря, по чести говоря*** из языка повседневного общения.

Не соответствующая реальному положению вещей оценка ***честно говоря*** заслуживает особого внимания, причем наша интерпретация носит гипотетический характер. В языке повседневного общения ***честно говоря*** используется не в прямом значении, то есть не в качестве маркера искренности в речевом акте признания, а в качестве контактоустанавливающего элемента, вносящего в высказывание семантику солидаризации или интимизации общения. Сталкиваясь в материалах опроса с этим выражением, вырванным из контекста, информанты начинают искать примеры его функционирования в буквальном смысле. Отсюда прямолинейные суждения («раньше говорил нечестно, а стал честно»). Утверждение тезиса о «древности» этих вводных слов может быть обусловлено и тем обстоятельством, что в восприятии молодежи многие вводные слова связаны с языком другого поколения: «взрослых», воспитанных на иной литературе и в другой стилистике общения.

**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:**

Звуковой корпус русского языка повседневного общения «Один речевой день» (ОРД) СПбГУ.  
 Национальный корпус русского языка [www.ruscorgora.ru](http://www.ruscorgora.ru) (01.10.2009)

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- ASINOVSKY, A., BOGDANOVA, N., SHERSTINOVA, T., RUSAKOVA, M., STEPANOVA, S., RYKO, A. (2009): Speech Corpus of Russian Everyday Communication «One Speaker's Day» (the ORD corpus). *Proc. of the 13th International Conference «SPEECH AND COMPUTER» (SPECOM'2009). 21-25 June 2009. St. Petersburg, Russia.* pp. 521-526.
- SHERSTINOVA, T. (2009): The Structure of the ORD Speech Corpus of Russian Everyday Communication. In: «*Text, Speech and Dialogue» TSD-2009.* LNAI 5729. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. pp. 258–265.
- БРАГИНА, Н. (1999): ИмPLICITная информация и типы речевых актов (речевой акт «признание»). In: Е.Г. Борисова, Ю.С. Мартынов (ред.): *ИмPLICITность в языке и речи.* Москва, с. 95–107.
- ВАЛГИНА, Н. (1991): *Синтаксис современного русского языка: Учебник для вузов,* Москва, с. 392.
- ВЕПРЕВА, И. (2002): Что такое рефлексив? Кто он, homo reflectens?. In: *Известия Уральского государственного университета* 24, с. 217–28.
- ГЛОВИНСКАЯ, М. (1993): Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов. In: *Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект.* Москва, с. 158–217.
- ЗНАКОВ, В. (1999): Психология понимания правды. СПб., 1999, с.103–104.
- КОРМИЛИЦЫНА, М. А. ( 2003): Усиление личностного начала в русской речи последних лет. In: Л. П. Крысин (ред.): *Русский язык сегодня. Вып. 2: Активные языковые процессы конца XX века.* Москва, с. 465–75.
- МАРКАСОВА, Е. (2008): Вводные слова как зеркало «новой вежливости» в современном русском языке (на минуточку и стесняюсь спросить). In: *Scando-Slavica* 54, с. 240–251.
- МАРКАСОВА, Е. (2009): «Я не употребляю древние вводные слова...» (о судьбе вводных конструкций в русском языке последнего десятилетия. In: *Slavica Bergensia 8, Landslide of the Norm: Landslide V. 2009,* pp. 63-79.
- МЯГКОВ, А. (2003): Экспериментальные стратегии диагностики и измерения искренности респондентов. In: *Социологические исследования.* 2, 2003. М., с.115–125.
- РОЗЕНТАЛЬ, Д. (1999): *Справочник по правописанию и стилистике.* М.
- ШЕРСТИНОВА, Т.(2008): «Один речевой день» на временной шкале: о перспективах исследования динамических процессов на материале звукового корпуса. In: *Вестник Санкт-Петербургского университета. Филология. Востоковедение. Журналистика.* Сер. 9. Вып. 4, Ч. 2. СПб., 2008, с. 227–235.
- ЭКМАН, П. (2000): *Психология лжи.* СПб., с.235–242.



ЛИДИЯ МАЗУР-МЕЖВА

*Польша, Кельце*

## О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ АВТОРА И ПЕРЕВОДЧИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

### АБСТРАКТ:

The paper describes the problem of interaction between the creative personality of the author and the translator of a literary text. Reproduction of author's image in the translation is possible only when the translator represents himself as a creative person, experienced and highly adaptable. The translator should go deeper into the world created by the author, and only those with rich life and literary experience are able to do this.

### KEY WORDS:

Interpretation – creative potential – adaptation of text – experience – literary traditions – functional equivalence.

В настоящей работе мы попытаемся рассмотреть проблему взаимодействия двух творческих личностей – автора и переводчика, на основании некоторых результатов наших исследований по переводу польских художественных текстов на русский язык и русских текстов на польский.

Главная задача переводчика – это сохранение в переводе национально-культурной и временной специфики произведения, однако не менее важным является требование передать индивидуальный стиль автора, авторскую эстетику, проявляющуюся как в самом идейно-художественном замысле, так и в выборе средств для его воплощения. Это требование оказывается довольно трудновыполнимым. Прежде всего, оно вступает в конфликт с требованием адаптации текста к инокультурному читателю, поскольку такая адаптация неизбежно ведет к замене тех или иных выразительных средств другими, принятыми в литературной традиции переводящего языка. Однако главная трудность состоит в том, что перевод часто предполагает выбор из нескольких вариантов передачи одной и той же мысли, одного и того же стилистического приема, использованного автором в оригинале. И делая этот выбор, переводчик вольно или не-

вольно ориентируется на себя, на свое понимание того, как это в данном случае было бы лучше сказать.

А. Беднарчик справедливо отмечает, что переводчик видит текст оригинала с позиции своего мира, а мир переводчика может совсем не совпадать с миром автора оригинала [Беднарчик 1998: 142].

При переводе художественного текста возникает противоречие: с одной стороны, чтобы осуществлять такой перевод, переводчик сам должен владеть всем набором выразительных средств, т.е. на самом деле быть писателем или поэтом, если он переводит поэтический текст. С другой стороны, чтобы быть писателем, надо иметь свое эстетическое видение мира, свою манеру письма, свой стиль, которые могут не совпадать с авторскими. В этом случае процесс перевода может превратиться в своеобразное литературное редактирование, при котором индивидуальность автора стирается, перевод становится автопортретом переводчика, и все переводимые им писатели начинают «говорить» его голосом.

Иногда говорят, что «переводчик должен отказаться от своей творческой индивидуальности или вовсе ее не иметь, полностью «раствориться» в оригинале, превратиться в прозрачное, практически невидимое стекло» [Сдобников, Петрова 2006: 408]. Однако при всей эффектности этого образа он по сути дела не отражает сущности художественного перевода.

На наш взгляд, для того, чтобы читатель перевода «увидел лицо автора», переводчик должен найти не формальные, а функциональные соответствия каждому авторскому приему, а это уже требует от него активной творческой позиции. Поэтому лучше всего, если переводчик художественного текста является писателем или поэтом.

Следует отметить, что достижение полноценного перевода невозможно без личного литературного и жизненного опыта переводчика. По словам Н. М. Любимова, «писателям – переводчикам, как и писателям оригинальным, необходим жизненный опыт, необходим неустанно пополняемый запас впечатлений. Писатель оригинальный и писатель-переводчик, не обладающие многосторонним жизненным опытом, в равной мере страдают худосочием. Век живи – век учись. Учись у жизни. Вглядывайся цепким и любовным взором в окружающий мир ... Если ты не видишь красок родной земли, не ощущаешь ее запахов, не слышишь и не различаешь ее звуков, ты не воссоздашь пейзажа иноземного. Если не будешь наблюдать за тем, как люди трудятся, то, переводя соответствующие описания, непременно наделаешь ошибок, ибо ясно ты это себе не представляешь. Если ты не наблюдаешь за переживаниями живых людей, тебе трудно дается психологический анализ. Ты напустишь туману там, где его нет в подлиннике. Ты поставишь между автором и читателем мутное стекло» [Чуковский 1988: 55–56].

Проведенный нами анализ перевода текста польского поэта и писателя Ч. Милоша «Элегия для Н. Н.» на русский язык, выполненного известным поэтом И. Бродским, показал, что столкновение двух творческих личностей, обладающих огромнейшим жизненным опытом (оба поэта прожили в эмигра-

ции долгие годы) не могло не повлиять на результат перевода. И. Бродский отлично знал творческий путь Ч. Милоша и высоко его ценил. Передать индивидуальный стиль Милоша, его эстетику, проявляющуюся, как в целом идейно-художественном замысле, так и в выборе средств для его воплощения, приспособить текст к русскому читателю, сохраняя в переводе национально-культурную специфику произведений автора – дело весьма сложное, а это ведь, в принципе, удалось И. Бродскому [Мазур-Межва 2009: 67].

Как отмечает В. В. Сдобников и О. В. Петрова, «переводчик должен не просто глубоко вникнуть в авторскую эстетику, в его образ мыслей и способ их выражения, он должен вжиться в них, сделать их на время своими. Для этого мало внимательно проанализировать переводимое произведение. Необходимо прочесть как можно больше из написанного этим писателем, познакомиться с его биографией, с литературной критикой, с тем, что сам автор говорил или писал по поводу своих произведений» [Сдобников, Петрова 2006: 409]. Подтверждением этому могут быть польские переводы поэзии и прозы Б. Окуджавы, осуществленные А. Мандалианом, В. Ворошильским, В. Домбровским, Е. Чехом, З. Федецким, А. Дравичем и другими. Все они были лично знакомы с поэтом, близко дружили с ним, знали его жизненный путь и разделяли его взгляды и отношение к этой действительности. Надо сказать, что несмотря на трансформации, произведенные в переводимых текстах, данные переводчики вполне передают атмосферу и климат произведений Окуджавы [Мазур-Межва 2008: 69, 78]. Думается, что такой перевод не был бы возможен без глубокого проникновения в глубину творчества Окуджавы и умения вжиться в его мироощущение. Перевести образ Арбата – улицы столь дорогой поэту, на которой он провел свое детство, смог только переводчик, понимающий значение этого уголка старой Москвы в жизни Окуджавы. Напомним несколько строк из «Песенки об Арбате» в переводе А. Мандалияна (с. 44–45):

*Ах, Арбат, мой Арбат,*

*ты – мое отечество,*

*никогда до конца не пройди тебя!*

*Ach, Arbacie, toś ty*

*Ziemią obiecanaq mą,*

*Niezbadanych twych dróg nie przemierzy nikt*

Русские переводы творчества В. Шимборской, осуществленные такими знаменитыми творцами, как А. Ахматова, Н. Астафьева или А. Эпфель, подтверждают тот факт, что высокого мастерства в переводе художественного текста могут достигнуть лишь те, кто обладает богатым личным и литературным опытом. Язык Шимборской кажется простым, несложным, однако юмор и ирония – ключевые понятия для ее творчества, могут быть препятствием при переводе. Изысканные шутки, изобилующие разговорной речью, идиомами и устойчивыми словосочетаниями, несомненно, вызывают у переводчика – представителя иной культуры особые затруднения. Об этом писали многие переводчики творчества В. Шимборской не только на русский [Старосельская 1998: 189–190], но и на французский [Brzozowski 1998: 155–166], словенский [Pavčić 1998: 129–140] и другие языки.

Умение соединять аналитическое мышление с творческими способностями, ввести текст оригинала в новый контекст – основные задачи переводчика. Пе-

реводчик ведь располагает только той действительностью, которая зафиксирована в тексте, и он может добраться до «затекстовой» действительности лишь через текст и должен ее принимать как таковую. Он может ее изменять только тогда, когда этого требует интерпретация реалий оригинала. Как подчеркивает Т. А. Казакова, «когда переводчик отзывается на реалии и на иные факты действительности из культурной сферы приемников перевода, тогда он перешагивает текстовую и вступает во внетекстовую онтологию» [Казакова 2006: 362].

Видный чешский переводчик О. Ф. Баблер, рассказывая о своей работе над переводом «Ворона» Э. По, отмечает, что решающую роль у него сыграло вдохновение, а после момента вдохновения последовала только тяжелая и упорная работа [Казакова 2006: 363]. Он пишет о своих кропотливых поисках, как расшифровать оригинальный рефрен «Nevermore» – черный центр всей печали. Передать настроение кошмара и ужаса, заключенное в данном рефрене, он смог лишь тогда, когда обнаружил связь слов Э. По со словами «Проповедника».

Многие исследователи теории перевода (напр., Дж. С. Катфорд, А. Попович, В. Коптилов и др.) отмечают различные языковые преобразования при переводе [Беднарчик 2004: 102–103], а Е. Эткинд, известный знаток перевода, высказываясь о переводческой свободе как об осознанной необходимости, отмечал, что переводчик обязан подчиняться законам художественного мира подлинника [Эткинд 1975: 391]. Переводчик не может проявить свою творческую индивидуальность как это доступно автору оригинала, он отчасти и является рабом по отношению к автору, как писал известный исследователь перевода К. Дедечиус [Dedecius 1974: 26].

Таким образом, воссоздание в переводе образа автора во всей индивидуальности возможно только тогда, если между переводчиком и автором нет конфликта, а он сам представляет собой творческую личность с богатым личным опытом и высокой степенью адаптивности. Свой перевод он должен создавать на основе глубочайшего проникновения в систему мировоззренческих, этических, эстетических взглядов и художественного метода автора.

#### ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- БЕДНАРЧИК, А. (2004): Семантические сдвиги и интертекст как проблемы переводоведения (перевод Ахматову). In: *Respectus Philologicus* 2004, N 5 (10), с. 102–103.
- BEDNARCZYK, A. (1998): Przesunięcia w hiperprzestrzeni wiersza. In: M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwić (eds): *Między oryginałem a przekładem*, IV. Kraków.
- BRZOZOWSKI, J.: Kilka uwag o przekładach polskiej poezji: Szyborska po francusku. In: *Między oryginałem a przekładem*, IV, op. cit., s. 155–166.
- DEDECIUS, K. (1974): *Notatnik tłumacza*. Kraków.
- КАЗАКОВА, Т. А. (2006): *Художественный перевод. Теория и практика*, Санкт-Петербург.
- МАЗУР-МЕЖВА, Л. (2008): *Булат Окуджава в польских переводах. Когнитивные стратегии переводоведения*. Kielce.
- PAVICIĆ, M.: Dwanaście prób przekładu wiersza Wisławy Szymborskiej „Obmyślam świat” na słoweński. In: *Między oryginałem a przekładem*, IV, op. cit.
- СДОБНИКОВ, В. В.; ПЕТРОВА О. В. (2006): *Теория перевода*, М.
- STAROSIELSKA, K.: Wisława Szymborska w Rosji. In: *Między oryginałem a przekładem*, IV.
- ЧУКОВСКИЙ, К. И. (1988): *Высокое искусство*. М.
- ETKIND J. (1975): Swoboda tłumacza jako konieczność uświadomiona. Tłum. E. Siemaszkiewicz. In: S. Polak (ed.): *Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia*. Wrocław.

ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА МИЛЮТИНА

*Польша, Ополе*

## О ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДИМОСТИ/ НЕПЕРЕВОДИМОСТИ С ПОЗИЦИЙ УЧЕБНОГО ПЕРЕВОДА

### АБСТРАКТ:

The article reveals that books on translation studies pay much attention to the problem of non-translation. The questions of the dispositions of the specialists in Russian professional translation, working in the Departments of Russian Studies, are examined.

### KEY WORDS:

Problem of translation – models of translation – problem of scientific translation – problem of qualifications and books on translation studies in the Departments of Russian Studies.

1. Проблема переводимости/непереводимости остается актуальной на всем протяжении развития переводоведения, годами не утихает полемика, с ней связанная (см., напр., [Balcerzan 1998: 57–72]). Весьма распространенная точка зрения на эту проблему представлена в «Толковом переводоведческом словаре»: «Если перевод – это выражение того, что уже было выражено на каком-либо языке, то значит непереводимых оригиналов нет, так как то, что можно выразить на одном языке, можно выразить на любом другом» [Нелюбин 2003: 167], (ср. [Федоров 1983: 122; Vilikovský 1984: 9–30]). И все же далеко не случайно в своей книге «Искусство перевода и жизнь литературы» А. В. Федоров считает необходимым сослаться на слова литературоведа и критика перевода Левона Мкртчяна: «всецело отстаивая принцип переводимости, мы не должны делать вид, будто все переводимо» [Федоров 1983: 184].

С правотой последнего утверждения согласится каждый, кто занимался переводом или анализом переводов, прежде всего переводом художественного текста. Переводчик непременно сталкивается с тем или иным «набором» непереводимых элементов, в каждом конкретном случае – с разной их комбинацией. Трудны для перевода так называемая безэквивалентная лексика, слова-реалии, не имеющие точных соответствий в другой культуре; всякого рода отклонения

от общей нормы языка (не только особенности территориальных диалектов, но нередко и разговорной речи); ассоциации слов-образов, если они выполняют важную смыслообразующую роль в произведении и др. Трудности преодоления «культурной неперевоидимости» – проблему передачи иной, чем в принимающей культуре, «соотнесенности», иной смысловой нагруженности словарно соотнесимых слов показывает Анна Беднарчик [Bednarczyk 2008: 341–354].

В подходах к данной проблеме, как и к соотнесимым с ней понятиям *эквивалентности* и *адекватности*, представлен целый спектр мнений (ср. [Мархвинский 1997: 45–52]), поскольку понимание перевоидимости непосредственно связано и во многом обусловлено тем, какие требования выдвигаются к переводу, тем, как рассматривается соотношение языковых и внеязыковых аспектов перевода, что, в частности, нашло выражение в попытках моделирования переводческого процесса (ср. [Швейцер 1988: 76–99; Hrdlička 1995: 9–15] и др.). Модели перевода, по сути, являют собой как критическое осмысление того, что сделано предшественниками в разработке идеи перевоидимости, так и дальнейший шаг в развитии переводческой мысли. Первые лингвистические модели перевода соотносят с идеями структурализма [Владова 2007: 309], они были основаны на сопоставлении функционирования языковых единиц исходного языка и языка перевода при недооценке экстралингвистических факторов. В ряду первых моделей можно назвать трансформационную, или динамическую модель Юджина Найды (в России ее разрабатывали И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг), семантико-ситуативную модель Л. С. Бархударова и другие [Нелюбин 2003: 43, 44–45 и сл., Виноградов 2004: 26–30]. Позже лингвистически ориентированный подход уступает место коммуникативному, перевод начинает рассматриваться как *акт межъязыковой коммуникации* [Роровиц 1979: 193–197; Vilikovský 1984; Hochel 1990; Швейцер 1988]. По мнению А. Д. Швейцера, сопоставлявшего различные модели переводов [Швейцер 1988: 51, 52, 53–54], наиболее полно специфику художественного перевода отражает модель *литературной коммуникации* перевода Антона Поповича [Роровиц 1979: 193–197; Роровиц 1983: 37–41]. Отметим, что параметры анализа, выделяемые словацким ученым, соотнесимы со схемой, которую предлагает и сам А. Д. Швейцер, берущий за основу также модель динамической эквивалентности Ю. Найды. Перевод, согласно функционально-прагматической модели А. Д. Швейцера, детерминирован множеством языковых факторов, к которым относятся «система и норма двух языков, две культуры, две коммуникативные ситуации – первичная и вторичная, предметная ситуация, функциональная характеристика исходного текста, норма перевода» (ср. [Нелюбин 2003: 243–244]).

Впрочем, по мнению болгарского транслатолога Илианы Владовой, переводоведение на современном этапе, развивающееся в русле когнитивного, культурологического и прагматического подходов, «характеризуется большим разнообразием теоретических концепций и направлений». При этом Владова полагает, что происходит отказ от моделей, поскольку «они не в состоянии выявить многогранность и комплексность процесса трансляции» [Владова 2007:

309, 310]. Мысль о своеобразной переориентации переводоведения, которое превращается в междисциплинарную и многополюсную науку с заметной философско-культурологической направленностью, присутствует в работах, ориентированных на герменевтический подход в осмыслении переводческого процесса (ср. [Иванова 2007: 355–362]); а дискуссии, посвященной переводу как компаративной проблеме [Вопросы 2009, № 2].

В целом же неослабевающий интерес к проблеме непереводимости в теоретическом и практическом плане обусловлен поиском «причин того, почему нечто оказалось непереводимым», ведет к выявлению «условий, определяющих превращение непереводимого в переводимое» (см. раздел «О теории перевода в современном мире, о процессе перевода и об идее переводимости» [Федоров 1983б: 171–186].), поскольку изучение «непереводимого остатка» открывает новые перспективы в разработке самой идеи переводимости [Федоров 1983: 186]. Для нас же важно то, что именно наработки исследователей проблемы непереводимости составили ту необходимую основу, на которой в настоящее время строятся учебные пособия по подготовке переводчиков. В них рассматриваются такие вопросы, как переводимость отдельных языковых средств; разная степень переводимости текстов в зависимости от их жанра и вида перевода; поиск функционального эквивалента; способы передачи недостающей информации и др. (ср. [Алексеева 2003; Виноградов 2004; Комиссаров 2002; Латышев, Семенов 2003; Федоров 1983; Швейцер 1988; Wojtaszewicz 1996 (1957); Pisarska, Tomaszewicz 1996; Kielar 2003] и др.).

2. Экскурс, касающийся развития идеи переводимости/непереводимости, был нами использован как предлог для разговора о переводческой подготовке студентов-русистов в рамках филологического факультета. Отдаем себе отчет в том, что существующая система подготовки на филологическом факультете не всегда отвечает современным запросам рынка, где в первую очередь востребованы специалисты, владеющие навыками профессионального перевода. Базовый (начальный) уровень подготовки переводчиков предусматривает получение (1) знаний о переводе, переводческой деятельности и (2) развитие переводческих навыков. Практика преподавания показывает, что, даже получая полноценный теоретический лекционный курс, включающий важнейшие сведения о переводе и переводческой деятельности, студенты не имеют возможности закрепить и развить элементарные переводческие навыки в объеме, необходимом для эффективной переводческой деятельности. Одна из причин – временные рамки на отделениях «непереводческой» направленности. Сказывается также недостаточный уровень общефилологической подготовки студентов. Во-первых, так сложилось в последние годы, что на отделение русистики приходят учащиеся с весьма поверхностным знанием не только русского, но и основ родного языка. Во-вторых, по ряду причин не всегда удается достичь необходимой корреляции учебных программ по лексикологии, стилистике и др. предметам, необходимым для освоения программы по переводоведению. В то же время в соответствии с требованиями к «стартовой» компетенции будущих переводчиков (В. Н. Комиссаров, «Теоретические основы методики об-

учения переводу», 1997) предполагается, что даже к базовому курсу перевода студенты должны подойти с определенным набором компетенции: – в достаточно высокой степени владеть языком; – обладать знаниями о культуре страны; – иметь начальные сведения из области контрастивной лингвистики, что дает представление о сходствах и различиях языков и языковых картин мира не только вообще, но и языков данной переводческой пары; – на пассивном уровне видеть разницу между текстами, созданными на одном и том же языке, но принадлежащими к разным стилям; – владеть терминологией и другими лексико-синтаксическими единицами данной системы на двух языках, если речь идет о тематико-профессиональной сфере (научной, экономической, технической и т.п.). К необходимой «стартовой» компетенции относится также умение самостоятельно расширять свой словарь и лингвокультурологическую информированность (излагается по [Тюленев 2004: 306]).

С переходом на двухступенчатую систему образования (3 курса бакалавриата, далее магистратура) на магистерских курсах отделений русского языка открываются специальные переводческие группы. Этот шаг – требование времени, поскольку обучение переводу становится приоритетной задачей подготовки современного специалиста. В этой новой ситуации отчетливо проступает ряд проблем и задач, связанных с повышением требований к уровню преподавания основ перевода. Некоторые из них решаются на «местном уровне»: проблемы технического оснащения, доступности компьютерных классов; укрепление междисциплинарных связей в рамках учебного подразделения, разработка так называемых сквозных программ, ориентированных на скоординированность и преемственность в преподавании дисциплин, соотносимых с переводоведением (учитывая тот факт, что в рамках обучения русскому языку предусмотрены задания и упражнения по переводу).

В обсуждении некоторых других проблем, как представляется, были бы полезны объединение усилий заинтересованных лиц, обмен опытом. Следует согласиться с мнением автора серии публикаций, посвященных преподаванию этого предмета: «все еще окончательно не решено создание учебной программы по практике перевода, которая бы систематизировала формы практического перевода и методику преподавания перевода как самостоятельной дисциплины» [Чирикова 2008: 265]. Разумеется, в вузах «на местах» необходимые для учебного процесса программы имеются, однако представляется актуальной постановка вопроса о разработке унифицированных программ переводческой подготовки с учетом уровня подготовки и специализации по видам деятельности (что связано и с возможностью семестрального и годовичного обучения студентов по программам обмена в партнерских вузах в своей стране или за рубежом). Разработка таких программ будет способствовать и выработке единых требований к формированию компетенции переводчика (на отсутствие таких критериев указывала Мария Чирикова [Там же]). Более того, стоит, возможно, задуматься о разработке в будущем «переводческой системы уровней» по аналогии с Европейской системой уровней владения иностранным языком. Особенностью этой системы является наличие стандартных кате-

горий, рекомендуемых для разработки собственных программ, что ведет к их унификации и предусматривает унифицированные критерии оценок. Подобную идею на XI конгрессе МАПРЯЛ в Софии (2007 г.) высказывал представитель Венгрии Э. Лендвай, подчеркнув, что в целях «создания единого европейского пространства высшего образования большинство вузов Венгрии и других стран включили в свои академические программы подготовку переводчиков». Венгерский коллега обосновывал свою точку зрения тем, что в документе Совета Европы «Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» (Страсбург 2001) среди коммуникативных видов речевой деятельности рассматривается перевод, выступающий под названием «медиация» [Лендвай 2007: 400].

Еще одной проблемой является недостаточное количество или же отсутствие пособий-практикумов по переводоведению, ориентированных на переводческие пары славянских языков. Публикаций по данной тематике немало (назовем прежде всего известную монографию Томаша Вуйчика „Gramatyka języka rosyjskiego: studium kontrastywne“ [Wójcik 1973], имеются многочисленные статьи в сборниках, журналах и т.д. Однако необходимость интенсификации учебного процесса и повышения качества подготовки специалистов заставляет подумать о пособиях/пособиях, в которых подобные сведения были бы собраны воедино, с учетом лагун, не только характерных именно для данной пары языков, но и актуальных для переводческой практики. В этой связи, опираясь на проделанные компаративистами исследования, неплохо было бы установить своеобразную «матрицу трудностей перевода» для конкретной славянской пары языков (по-разному «востребованных» в зависимости от жанра текста и вида перевода).

Не менее важным представляется лексикографическое обеспечение перевода. В свое время обширный список «неродившихся словарей» для немецко-русской пары языков предложил В. Д. Девкин [Девкин 2001: 85-97]. Разделы «Настольного польско-русского идиоматикона», словаря, разрабатываемого в Институте восточнославянской филологии Опольского университета, являются своеобразным развитием «идей» ученого-германиста на польской почве (ср. Peryfrazy [Chlebda 2007: 105–116, Adresatywy Chlebda (в печати)] и многие др.). Вместе с тем практика показывает, что неплохим дополнением к некоторым разделам этого словаря мог бы служить двуязычный толковый *словарь реалий окружающего быта*, отражающий как национально специфические реалии (так называемую безэквивалентную лексику), так и фоновые различия, обнаруживаемые при сопоставлении обыденных, во многом идентичных, понятий, их ассоциативный ореол в каждом из языков. Думается, что был бы полезен словарь-справочник лексической и синтаксической сочетаемости (валентности) в сопоставительном аспекте (ср. [Апресян 1974]) с указанием стилистической окраски, экспрессивно-оценочного потенциала единиц, входящих в соотносимые синонимические ряды (ср. [Васильева 1997: 104–130]).

Полагаем, что назрела необходимость такие вопросы подготовки специалистов, владеющих навыками профессионального перевода, вынести на обсуждение, тем более, что, судя по публикациям (в том числе и на страницах *Rossica*

Olomucensia), в вузах «непереводческой» направленности накоплен интересный опыт.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- АЛЕКСЕЕВА, И. С. (2003): *Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей*. СПб.
- АПРЕСЯН, Ю. Д. (1974): *Лексическая семантика. Синонимические средства языка*. М.
- ВАСИЛЬЕВА В.Ф. (1997): О межязыковой эквивалентности номинативной единицы (на метариле современного русского и чешского языков). In: С. Сятковски, Т. С. Тихомирова (ред.): *Проблема изучения отношений эквивалентности в славянских языках*. М., с. 104–130.
- ВИНОГРАДОВ, В. С. (2004): *Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие*. М.
- ВЛАДОВА, И. М. (2007): Современные тенденции в переводоведении. In: *Мир русского слова и русское слово в мире. XI конгресс МАПРЯЛ*. Т. 5. София, с. 309–314.
- Вопросы: Вопросы литературы. 2009. № 2, с. 5–200.
- ДЕВКИН, В. Д. (2001): О неродившихся немецких и русских словарях. In: *Вопросы языкознания*. № 1, с. 85–97.
- ИВАНОВА, О. И. (2007): Герменевтико-синтетическая модель перевода как ключевая теоретическая модель описания переводческой деятельности И.Ф. Анненского. In: *Мир русского слова и русское слово в мире. XI конгресс МАПРЯЛ*. Т. 5. София, с. 355–362.
- КОМИССАРОВ, В. Н. (1997): *Теоретические основы методики обучения переводу*. М.
- КОМИССАРОВ, В. Н. (2002): *Современное переводоведение: Учебное пособие*. М.
- ЛАТЫШЕВ Л. К., СЕМЕНОВ А. Л. (2003): *Перевод: теория, практика и методика преподавания: Учеб. пособие для студентов перевод. фак. высш. учеб. заведений*. М.
- ЛЕВИЦКИ, Р. (1990): Безэквивалентные типы текстов как проблема перевода. In: *Studie z textové lingvistiky*. Olomouc: Univerzita Palackého, с. 114–123.
- ЛЕНДВАЙ, Э. (2007): Европейский языковой портфель и перевод. In: *Мир русского слова и русское слово в мире. XI конгресс МАПРЯЛ*. Т. 5. София.
- МАРХВИНСКИЙ, А. (1997): Эквивалентность и переводимость. In: С. Сятковски, Т. С. Тихомирова (ред.): *Проблема изучения отношений эквивалентности в славянских языках*. М., с. 45–52.
- НЕЛЮБИН, Л. Л. (2003): *Толковый переводческий словарь*. М.
- ТЮЛЕНЕВ, С. В. (2004): *Теория перевода: Учебное пособие*. М.
- ФЕДОРОВ, А. В. (1983): *Искусство перевода и жизнь литературы: Очерки*. Л.
- ЧИРИКОВА, М. (2008): Транслатологические аспекты и их место в методике обучения русскому языку на филологических факультетах. In: *Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů – 30.08 – 01.09.2007*. Olomouc: Univerzita Palackého, с. 265–268.
- ШВЕЙЦЕР, А. Д. (1988): *Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты*. М.
- BALCERZAN, E. (1998): Czym jest nieprzekładalność – faktem praktyki translatorskiej czy zmyśleniem teoretyków? In: P. Fast (ed.): *Przekład artystyczny a współczesne teorie translologiczne. Studia o przekładzie*. Nr 8. Katowice, с. 57–72.
- BEDNARCZYK, A. (2008): Próba przekładu Wiktora Serbskiego na język polski (słowo – sens – kontekst – mentalność). In: *Studia*. № 7, с. 341–354.
- НОСЧЕЛ, В. (1990): *Preklad ako komunikácia*. Bratislava.
- HRDLIČKA, M. (1995): *Překladatelské miniatury*. AUC, Philologica. Monographia CXXII. Praha.
- CHLEBDA, W. (red.) (2007): *Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 2*. Opole.
- CHLEBDA, W. (red.) (2003): *Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 4*. (в печати).
- KIELAR, B. (2003): *Zarys translatoryki*. Warszawa.
- PISARSKA, A., Tomaszewicz T. (1996): *Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii*. Poznań, с. 126–140.
- POPOVIČ, A. (1979): Vymedzenie pojmu preklad z komunikačného aspektu. In: *Československá rusistika* 24. č. 5, с. 193–197.
- POPOVIČ, A. (1983): Poznávanie originálu ako východisko prekladateľského procesu. In: *Slavica Pragensia* 23 – AUC, Philologica, с. 37–41.
- SAVORY, Th. (1957): *The Art of Translation*. London.
- TABAKOWSKA, E. (2001): *Językoznawstwo kognitywne i poetyka przekładu*. Przeł. Agnieszka Pokojaska. Kraków.
- VILIKOVSKÝ, J. (1984): *Preklad ako tvorba*. Bratislava.
- WOJASZEWICZ, O. (1996): *Wstęp do teorii tłumaczenia*. Warszawa.
- WÓJCIK, T. (1973): *Gramatyka języka rosyjskiego: studium kontrastywne*. Warszawa: PWN.

АЛИНА ОРЛОВСКА

*Польша, Люблин*

## ТИПОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА ФАНТАСТИЧЕСКОГО В ПЕСТРЫХ СКАЗКАХ В. ОДОЕВСКОГО

### ABSTRACTS:

The article intends to analyze V. Odoevsky's cycle of fairy tales entitled "Pyostrye skhazki" in the context of the author's philosophy of man and the world, affected by the Enlightenment and Freemason thought. The latter factors turn out to determine the structure of the cycle, the concept of the narrator, as well as the semantics of the fantastic.

### KEY WORDS:

V. Odoevsky – comism – Freemason literature – narration – narrator – the – represented world – composition.

П. Н. Сакулин, обращая внимание на мистический идеализм художественной системы писателя и некую «закрытость» его текстов, подчеркивал, что источников обуславливающих их своеобразие предстоит искать как в философской, мистической, так и масонской литературе [Сакулин 1913]. На масонский компонент эстетической системы писателя обращали внимание также В. Э. Вацура [Вацура 2000] и В. Я. Сахаров [Сахаров 2000].

В. Одоевский неоднократно заявлял как о приверженности к таинственному и фантастическому, так и к сатирической традиции русской литературы. Сатира, подчеркивал писатель, это «выражение нашего суда над самими собою, часто грустное, исполненное негодования, большею частью ироническое», а таинственное всегда может быть объяснено [Одоевский 1844: 45].

«Пестрые сказки», первый прозаический цикл Одоевского, были опубликованы отдельным изданием лишь в 1833 году. Исследователи достояния Одоевского, определяя цикл мало оригинальным, вторичным и неоднородным, отмечают сосуществование в нем наряду со сказочными аллегориями повестей, в которых русский быт выявлен с помощью шутливой-комической фантастики [Główko 1997:223]. При том, как правило, сказки сборника рассматривались отдельно в контексте их соотношений с популярными в то время идеями, лите-

ратурными жанрами или приемами. Вопрос о художественном единстве «Пестрых сказок» не ставился. Однако их прочтение с точки зрения масонских интересов Одоевского вносит корректуру в представления о художественном своеобразии первого прозаического сборника Одоевского.

Сборник «Пестрые сказки» состоит из семи повестей, двух предисловий («От издателя» и «Предисловия сочинителя») и эпилога. Они образуют композиционную раму произведения. В них четко вырисовывается фигура автора-повествователя. Ириной Модестович Гомоздейко – человек всесторонне образованный, начитанный, но странноватый. *«Магистр философии, член разных ученых обществ»*, мотивируя намерение выпустить в свет сказки *«пепельным состоянием своего фрака»* и страстным желанием купить редкую книгу, заявляет также о своем понимании функции литературы. Жанр сказки выбирается им сознательно – ведь книги *«пишутся для того, чтобы они читались»*. При чем обнаруживается его стремление обращать внимание на сущность представляемой картины мира, т.е. быть понимаемым. С этой целью им вводится в текст добавочный оборотный вопросительный знак.

Ирония в обрисовке портрета Гомоздейки в «Предисловии сочинителя» заменяется аутоиронией и усугубляется. Невзрачный человек в черном фраке осознает свою странность. Называя себя «пустым ученым», открыто заявляет о жизненной непригодности своих знаний и привычке *«ломать голову над началом вещей и прочими тому подобными нехлебными предметами»*. Надеясь на то, что в *«милом и образованном читателе»* он найдет единомышленника, Гомоздейко затевает спор про непостижимость тайны бытия. Затем в рамках текстов, составляющих «Пестрые сказки», еще трижды фигура повествователя выдвигается на видное место. В «Реторте» во введении, посвященный в тайны сокровенного повествователь рассуждает о порядке вещей и возможности постижения тайны бытия. Круг его интересов (вечный мир, внутреннее ненарушимое спокойствие царств, высокое смирение духа, тайны жизни и смерти, творения и разрушения), увлечение далеким золотым временем, алхимией, астрологией, хиромантией, кабалистикой, отрицание рационализма, намекает на орденское учение. Человеку не обойтись без беспокоящей его свободной мысли, высоких стремлений, жажды познания. С позиции масона он намекает на бренность и ничтожность человеческой жизни, его ограниченность и призывает идти по его следам, чтобы достичь познания. Творец, посвященный в тайны бытия и понимающий суть происходящего, призван просвещать погрязших в заблуждении братьев. Ссылаясь на личный опыт и пережитое, он вовлекает читателя в загадочный мир, реальность которого удостоверяется фактом, что все выпало на его долю, рассказывает про случившуюся с ним в гостинице историю. Спрятавшийся от суматохи бала у открытой хозяйини форточки, повествователь становится героем загадочных событий. Оказавшись вне бальной залы, он обнаруживает, что вся великосветская суматоха, это последствие эксперимента, которым потешался малолетка чертенок. Вылезая из заколдованного мира он сам попадает в когти нечистого, а затем в школьный латинский словарь. В закрытом пространстве словаря он встреча-

ется с пауком, мертвым телом, колпаком, Игошею и молодыми людьми, которые загнанные сюда бесовскими кознями, за время пребывания в словаре облепились словами, превращаясь в сказки. Случайно разбитая реторта и бегство бесенка позволили ему вырваться наружу. У него в руках оказались и его превращенные в сказки сотоварищи. Именно ими рассказанные истории становятся сюжетами сказок. Образ повествователя выдвигается заново на видное место в двух последних сказках. В «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» он, выявляя пустоту великосветской жизни, констатирует, что зло порождено падением нравов и воспитанием молодого поколения. На страже мишуры пошлого мира стоит великосветская традиция, эталоном которой оказываются страшные маменьки. В «Той же сказке, только наизворот» повествователь очередной раз вступает в диалог с *«любезной пишущей, отчасти читающей и отчасти думающей братией»*. Мир чердаков и заполненных *«покорными книгами и молчаливой бумагой»* кабинетов противопоставляется миру передних и гостиных, где царят *«заклейменные названием приличий», «пошлые нежности и приторные мудрования о простом, искреннем»*. В светском обществе, слепо подчиняющемся нормам светской благопристойности, нет места для свободной мысли, споров, откровенности. Здесь не достаёт логики, то зато вдоволь уверенности в свое избранничество и оригинальность. Критическим представлениям повествователя о кукольности мира и жизни-игре противятся великосветские дамы, с которыми *«не потолкуешь и не поспоришь»*. Убеждение, что человек не проявив силы воли и характера превращается в безвольное существо, подчиненное пустой, лишённой смысла беготне и суете мира, экспонируется в эпилоге, в котором мир постигается повествователем ящиком с игрушками, а человеческая жизнь то ли игрой, то ли последствием чьей-то игры.

Важную функцию в раскрытии главной идеи цикла выполняют эпиграфы. «Пестрые сказки» открываются репликой Митрофанушки из «Недоросля» Фонвизина: *«Какова история. В иной залетишь за тридевять земель за тридешатое царство»*. Сущность рассказываемых Одоевским историй однако не в смешении фантастики и реальности, а в том, что многое остается потаённым и непонятным непросвещённому, т.е не достигшему истинного познания человеку. Он сможет увидеть только наружное, суть происходящего ему остается неясной. Затем в очередных повестях постепенно вскрывается правда о мире, человеке и его натуре. При том лишь за исключением «Игоши», каждый раз эпиграф обнаруживает суть повествовательного приема и метода обрисовки действительности.

В «Сказке о мертвом теле, неизвестно кому принадлежавшем» эпиграф из Гоголя и факт, что Севастьяныч составил *«просьбу о выдаче тела его владельцу»* осушив штоф домашней желудочной настойки, позволяют воспринять странные события как пьяный бред. Бюрократический порядок и нравы чиновников, превращающие жизнь в нелепо-гротескную шутку мотивируются однако ограниченностью погруженного в пороках и не способного постичь потаённое человека. Сказка «Жизнь и похождения одного из здешних обывате-

---

лей в стеклянной банке, или Новый Жако» под масками пауков обнаруживает ничтожность человеческих стремлений и желаний перед силой природного инстинкта. Похождения Ликоса и его сына показывают, что человек может отречься силой воли от пошлости, но сохранить верность идеям трудно, так как слабая человеческая натура подвергается искушениям, а заблуждения ведут к катастрофе. «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в Светлое Воскресенье поздравить своих начальников с праздником», указывающая бунт вещей, предупреждает об опасности нарушения сложившихся веками традиций и порядка жизни. Фантастическая месть оживших карт лишает людей достоинства, а мир превращает в кошмарное сумасшедшее колесо, из которого самому нельзя вырваться. Свободно проникать неуловимую границу мира грез и реальной действительности доступно лишь неизврращенному мудрствованием ребенку. Детской фантазии героя «Игоши» чужда амбивалентность восприятия мира, а добро и зло проявляются в своем примарном значении. Рассуждающие о порядке миростроения, творце и иерархии ценностей колпак, туфля и вакса изо сна Вальтера в «Просто сказке», символические знаки реального мира, выявляют ложность возвышенного вовлеченного в сугубо реальную обстановку. Две последние сказки, «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» и «Та же сказка, только наизворот», экспонируют идею брэнности суетного мира. Возвышенное и добро в человеке уничтожается воспитанием. От суеты мира можно освободиться или мудрыми наставлениями или силой воли. И то и другое однако оказывается невозможным если забыто духовное начало.

Эпиграф последней сказки (цитата из «Страданий молодого Вертера» Гете), повторенный затем в эпилоге, экспонирующий концепцию человеческой жизни-игры, вскрывает новый ракурс осмысления проблемы: мир это не столько нелепая детская шутка озорного чертенка, сколько управляемый скрытой силой театр марионеток, игра от которой нельзя освободиться.

Композиционная рама, выдвинутая на первый план фигура философа-повествователя и вписанная в структуру текста беседа «по душам» с «милым читателем» вскрывает потаенный смысл представляемого – обращая внимание на суетность мира и пороки человека, указывает пути обретения совершенства. Все однако остается в руках человека. Если силой воли он сможет покорить греховную натуру, то возможным становится обретение внутренней гармонии, гарантирующей совершенство.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- ВАЦУРО, В. Э. (2000): *София: Заметки на полях «Косморамы» В. Ф. Одоевского «НЛО»*.  
GŁÓWKO, O. (1997): *Idee romantyzmu w „Nocach rosyjskich“ Włodzimierza Odojewskiego*. Łódź.  
ОДОЕВСКИЙ, В. Ф. (1993): *Пестрые сказки. Сказки дедушки Иринья*. М.  
ОДОЕВСКИЙ, В. Ф. (1844): *Сочинения*. Ч. III. Санкт-Петербург.  
САКУЛИН, П. Н. (1913): *Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский*. Т.1. Ч. 2. М.  
САХАРОВ, В. И. (2000): *Иероглифы вольных каменщиков. Массонство и русская литература XVIII-начала XIX века*. М.  
САХАРОВ, В. Я. (1977): Труды и дни Владимира Одоевского. In: В. Одоевский: *Повести*. М., с. 5–25.  
ТУРЬЯН, М. (1991): *Странная моя судьба. О жизни Владимира Федоровича Одоевского*. М.

АЛЕКСЕЙ ПОДЧИНЕНОВ – ДЖОЗЕФИНА ЛУНДБЛАД

*Россия, Екатеринбург – Швеция, Гетеборг*

## Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И В. Т. ШАЛАМОВ: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БЫТО-БЫТИЙНЫХ РЕАЛИЙ

### АБСТРАКТ:

One of the forms of literary connection between Shalamov and Dostoevskiy (the transformation of existential being realities in their works) is analysed in this article. It is demonstrated with the examples of description of the bath-house in the convict prison (“Notes from the House of the Dead”) and in Gulag (“Kolyma short stories”) how the entity atmosphere of occurrent events changes together with the interchange of the social images: the reality is being displaced by absurdity.

### KEY WORDS:

Dostoevskiy – Shalamov – literary connection – “Notes from the House of the Dead” – “Kolyma short stories” – bath-house.

Во многих рассказах В. Т. Шаламова можно наблюдать непосредственные аллюзии, более того, прямые обращения к «Запискам из Мертвого Дома» Ф. М. Достоевского<sup>1</sup>. Подобный диалог современного писателя с классиком обнаруживает себя не только в упоминании имени Достоевского, но в явном сопоставлении лагерных реалий XIX и XX веков. Выбор рассказа «В бане» для данного сопоставительного анализа обусловлен несомненной отсылкой к IX главе «Записок» Достоевского, которая называется «Исай Фомич. Баня. Рассказ Баклушина». Настоящий анализ ограничивается тем содержанием главы, в котором речь идет непосредственно о бане, несмотря на то, что глава, как видно из ее заглавия, охватывает не только это событие.

Рассказ «В бане» был написан в 1955 году, приблизительно через сто лет после того, как Достоевский начал работать над своими записками. Известно, что Шаламов не только читал и перечитывал «Записки из Мертвого Дома», но

<sup>1</sup> Например, из рассказа «Татарский мулла и чистый воздух»: «Я вспомнил этого бодрого и умного муллу сегодня, когда перечитывал «Записки из Мертвого дома». Мулла знал, что такое «чистый воздух»» – из рассказа «Татарский мулла и чистый воздух» [Шаламов 2009: 115].

и много размышлял по поводу литературных связей своих рассказов с данным произведением. Он часто упоминает его, когда пишет о своей жизни, о своем творчестве, упоминает в письмах друзьям: Б. Л. Пастернаку, И. П. Сиротинской, А. А. Кременскому. Для Шаламова в его жизненном самоопределении, а в особенности творческом и эстетическом, Достоевский играл роль художника близкого по лагерной теме, но далекого по ее восприятию. В предисловии к своим воспоминаниям о Колыме он пишет: *«Много, слишком много сомнений испытываю я. Это не только знакомый всем мемуаристам, всем писателям, большим и малым, вопрос. Нужна ли будет кому-либо эта скорбная повесть? Повесть не о духе победившем, но о духе растоптанном. Не утверждение жизни и веры в самом несчастье, подобно «Запискам из Мертвого дома», но безнадежность и распад. Кому она нужна будет как пример, кого она может воспитать, удержать от плохого и кого научить хорошему? Будет ли она утверждением добра, все же добра – ибо в эстетической ценности вижу единственный подлинный критерий искусства»* [Шаламов 2009: 145–146]. В этих словах признание ответственности писателя, продолжающего великую традицию русской литературы, но в то же время осознающего крушение этой традиции: *«20-ый век принес сотрясение, потрясение в литературу. Ей перестали верить, и писателю оставалось для того, чтобы оставаться писателем, притворяться не литературой, а жизнью – мемуаром, рассказом [вжатым] в жизни плотнее, чем это сделано у Достоевского в «Записках из Мертвого дома». Вот психологические корни моих «Колымских рассказов»* [Шаламов 2009: 919–920]. Нельзя, с одной стороны, считать творчество Шаламова неким прямым продолжением этой традиции, но и нельзя, с другой, воспринимать и вне нее. Безусловно, его рассказы написаны в другое время, при другой власти, но при этом на том же языке, о той же стране и о сходной ситуации. Несомненен тот факт, что Шаламов не только читал «Записки из Мертвого Дома», но и имел свой личный опыт «бани в Омске» и постоянно держал это произведение Достоевского в поле своего художественного зрения. Писатель XX века постоянно соотносил свой жизненный опыт с опытом Достоевского.

Наш анализ двух произведений – рассказа Шаламова «В бане» и части главы «Записок из Мертвого Дома» – будет сосредоточен на своеобразном диалоге двух текстов, выявляя их сходства и различия, при этом не ставя задачу их исчерпать.

Рассказ Шаламова содержит два упоминания имени Достоевского, которые прямо отсылают читателя к «Запискам из Мертвого Дома». Первое встречается почти в самом начале: *«Баня всегда есть отрицательное событие для заключенных, отягчающее их быт. Это наблюдение есть еще одно из свидетельств того смещения масштабов, которое представляется самым главным, самым основным качеством, которым лагерь наделяет человека, попавшего туда и отбывающего там срок наказания, «термин», как выражался Достоевский»* [Шаламов 2009: 600]. В «Записках из Мертвого Дома»

слово «термин» действительно употребляется Достоевским в значении «срок» трижды, при том в двух случаях применительно к каторжникам<sup>2</sup>.

Второе упоминание имени Достоевского в непосредственной связи с «банной» темой находится в центре рассказа: «*Во времена Достоевского в бане давали одну шайку горячей воды (остальное покупалось фраерами). Норма эта сохраняется и по сей день*» [Шаламов 2009: 602]. У Достоевского есть подтверждение верности этой информации: «*На каждого арестанта отпускалось, по условию с хозяином бани, только по одной шайке горячей воды; кто же хотел обмыться почище, тот за грош мог получить и другую шайку ...*» [Достоевский 1997: 513]. То, что в омской бане было возможно покупать воду, прямо указывает на одно важное различие между каторгой и лагерем, именно, что этого нельзя было делать в колымской бане: «*... нет никакой лишней воды, да и покупать ее никто не может*» [Достоевский 1997: 603]. Думается, что Шаламов бы не обратил внимания на эту, казавшуюся, на первый взгляд, незначительной, деталь, если бы он не хотел сопоставить действительность своего рассказа с действительностью Достоевского. Шаламов ведет рассказ с постоянной оглядкой на текст «Мертвого Дома» со многими очевидными, вплетенными в повествование сравнениями каторги с лагерем и лагеря с каторгой. В дальнейшем анализе мы будем учитывать эту особенность шаламовского рассказа с его своеобразной полемикой с Достоевским и попытаемся установить специфический характер этой полемики.

Хронотоп рассказа строится по хронотопу главы Достоевского. Структура событий рассказа совпадает в сюжетной организации текста со структурой главы. И в рассказе, и в главе повествование начинается с того, что дается информация о том, чем является для арестантов/заклученных банный день. В самом начале главы «Мертвого Дома» сообщается: «*Наступал праздник Рождества Христова. Арестанты ожидали его с какой-то торжественностью, и глядя на них, я тоже стал ожидать чего-то необыкновенного. Дня за четыре до праздника повели нас в баню. В мое время, особенно в первые мои годы, **арестантов редко водили в баню**. Все обрадовались и начали собираться. Назначено было идти после обеда и в **эти после-обеда уже не было работы***» [Достоевский 1997: 507] (жирный шрифт наш – А. П., Д. Л.). Из рассказа Шаламова узнаем, что спустя сто лет в лагере обычай стал иным: «*... для бани выходных дней не устраивается. В баню водят или после работы, или до работы*» [Шаламов 2009: 601]. Для омских арестантов и колымских заключенных баня была «общей», не принадлежавшей ни каторге, ни лагерю, у Достоевского – городу, у Шаламова – поселку, но топили совершенно по-разному. Омские арестанты приходили к уже готовой, растопленной общей бане, в то

<sup>2</sup> «... встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем» [Достоевский 1997: 396]. «Отбыв же два-три года каторги, арестант уже начинает ценить эти годы и мало-помалу соглашается про себя лучше уж закончить законным образом свой рабочий термин и выйти на поселение, чем решиться на такой риск и на такую гибель в случае неудачи» [Достоевский 1997: 614].

время как колымским заключенным приходилось самим топить ее: «*Запомним, что дрова для бани приносят накануне сами бригадиры на своих плечах, что опять-таки часа на два затягивает возвращение в барак и невольно настаивает против банных дней*» [Шаламов 2009: 603]. У Достоевского баня сначала оценивается как положительное событие, как что-то «необыкновенное», безусловно, связанное, во-первых, с тем, что она имела место накануне Рождества, и, во-вторых, с тем, что она была событием редким, если не всегда, то, во всяком случае, в первые годы. У Шаламова, наоборот, баня не связана ни с праздником, ни с выходным днем, а представляет собой тягостное, повторяющееся событие бытового характера. В обоих текстах баня находится вне того места, в котором обычно находится арестант/заключенный, однако это понимается совершенно по-разному. У Достоевского расстояние между острогом и баней дает возможность посмотреть на тот другой мир, который существует «за заборами»: «*Было морозно и солнечно; арестанты радовались уже тому, что выйдут из казармы и посмотрят на город*» [Достоевский 1997: 512]. У Шаламова отсутствует подобная радость у заключенных, да и, возможно, не было на что посмотреть в их поселке без имени.

Сосредоточимся на описании главного предмета и рассказа, и главы – бани. Можно подумать, будто баня Достоевского кажется гораздо «положительнее» бани Шаламова. Однако нельзя забывать, с каких слов начинается описание омской бани: «*Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад*» [Достоевский 1997: 514]. У Шаламова же нет сравнения бани с адом, возможно, вследствие того, что там не было жарко: «*Там не хватает тепла. Железные печи не всегда раскалены докрасна, и в бане (в огромном большинстве случаев) попросту холодно*» [Шаламов 2009: 603]. Для Шаламова невозможно образное сравнение Достоевского: «*Это был уж не жар; это было пекло*» [Достоевский 1997: 514].

В рассказе Шаламова не дается имен заключенных, что усиливает, вместе с глаголами настоящего времени действительного залога, эффект вечно продолжающегося события, не имеющего четких ограничений во времени. Это точно подмечает современный исследователь: «В «Колымских рассказах» время существует в трех ипостасях – настоящего времени, сливающегося с ним времени-вечности и существующего отдельно от лагеря – и большей частью вопреки ему – исторического времени. Огромные сроки заключения, убеждение в незыблемости существующего порядка, страх перед неопределенным будущим делали лагерное время амбивалентным, объединяя понятия «сейчас» и «всегда»» [Михайлик 1997: 111]. В рассказе баня описана как некое общее происшествие, свойственное ни одному месту, ни одному времени (возможно, время в рассказе ограничено лишь существованием подобных лагерей на Колыме и, таким образом, охватывает несколько десятилетий). Поэтому подобное происшествие, в котором нет разницы между «сейчас» и «всегда», не может иметь определенных участников, у которых есть не только имя, но и характер и, вместе с тем, собственная история. У Достоевского баня очерчена определенными границами не только в пространстве, но и во времени: описы-

ваются лишь одно посещение бани и в центре оказываются три персонажа, называемых по имени и/или фамилии (Исай Фомич, Петров, Баклушин).

В чем же сходство рассказа Шаламова и главы Достоевского? Интересно заметить, что и у Достоевского, и у Шаламова повествование представляет собой не описание бани, но, прежде всего, размышление о ней, попытку понять этот банный процесс. В обоих текстах много вопросов, будто повествователь и автор, явные участники и очевидцы, все же не могут понять, что же происходит. Если у Достоевского вопрос, и вместе с ним непонимание, относится в основном к персонажу Петрову и к его отношению к повествователю<sup>3</sup>, то у Шаламова находим обилие подобных вопросов, относительных поведения заключенных<sup>4</sup> и бытовых деталей<sup>5</sup>. Такой взгляд со стороны обусловлен тем, что и рассказ, и глава являются примерами того «смещения масштабов», о котором много говорил Шаламов и в своих рассказах, и в связи со своими рассказами, которое всегда происходит с людьми в условиях лишения свободы. Это «смещение масштабов» есть в обоих текстах, и проявляется оно одинаково: и у Достоевского, и у Шаламова баня по сути своей – абсурд. Абсурдность явления под названием «баня» и на каторге, и в лагере обнаруживается в том, что никто чище от бани не становится. У Достоевского читаем: *«Но мылись мало. Простолюдины мало моются горячей водой и мылом; они только страшно парятся и потом обливаются холодной водой, – вот и вся баня»* [Достоевский 1997: 514]. У Шаламова: *«Мечта о том, чтобы вымыться в бане, – несуществующая мечта»* [Шаламов 2009: 603]. Но абсурд у писателей имеет разное объяснение: у Достоевского – свойствами русского характера, у Шаламова – элементарным отсутствием воды. Подобный абсурд возможно передать только с помощью «взгляда со стороны», в полном смещении всех масштабов привычной и обычной человеческой жизни<sup>6</sup>. Необходимо отметить, что абсурд у Шаламова является сюжетобразующим. Рассказ начинается с того, что *«баню часто называют «произволом»* [Шаламов 2009: 600], и заканчивается тем, что *«немудрено, что банный день никому не нравится»* [Шаламов 2009: 605]. У Достоевского сюжет держится, в виду того, что часть о бане является всего одной частью более длинного повествования о каторге, не на одном абсурде. У Достоевского баня имеет смысл, все-таки она является приятным событием для арестантов, своеобразным отдыхом. У Шаламова баня не может быть приятным событием по своему устройству, не может дать заключенному

<sup>3</sup> *«Денег за услуги я ему вовсе не обещал, да он и сам не просил. Что ж побуждало его так ходить за мной?»* [Достоевский 1997: 514].

<sup>4</sup> *«В чем же дело? Неужели человек, до какой бы степени нищеты он не был доведен, откажется вымыться в бане, смыть с себя грязь и пот, которые покрыли его изъеденное кожными болезнями тело, и хоть на час ощутить себя чище?»* [Шаламов 2009: 600].

<sup>5</sup> *«Так неужели человек – кто бы он ни был, не хочет избавиться от этой муки, которая мешает ему спать и борясь с которой он в кровь расчесывает свое грязное тело?»* [Шаламов 2009: 601].

<sup>6</sup> *«Абсурд – эта категория экзистенциализма – конкретизируется у Шаламова как падение в нелепое и катастрофическое перевертывание выработанных человечеством ценностей ... абсурд – в смещении всех масштабов в большом и малом»* [Волкова 1997: 7].

никакого отдыха. У Шаламова абсурд доведен до своего предела. Баня лишена всякого смысла в том виде, в котором она представлена в рассказе.

Данный сопоставительный анализ показывает, что глава Достоевского об омской бане является для Шаламова неким исходным пунктом, от которого отталкивается его повествование, используя детали каторжного быта «Записок и Мертвого Дома». Действительно, у Шаламова наблюдается своеобразный «метаморфоз Мертвого Дома», и при сопоставлении этих двух текстов выявляется связь между ними и в общей тематике, и в точке зрения, представляющей в том и другом случае взгляд со стороны и смешение масштабов. Но в то же время очевидно и различие между ними – если и существовал какой-то смысл в каторге XIX века, то он полностью отсутствует в лагере XX века.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- ВОЛКОВА, Е. (1997): Варлам Шаламов: Поединок слова с абсурдом. In: *Вопросы литературы*. № 6.
- ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. (1997): *Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Издание в авторской орфографии и пунктуации под редакцией В. Н. Захарова*. Т III. Петрозаводск.
- МИХАЙЛИК, Е. В. (1997): В контексте литературы и истории. In: *Шаламовский сборник. Вологда*. Вып. 2.
- ШАЛАМОВ, В. Т. (2009): *Сочинения в двух томах*. Т 1. М.
- ШАЛАМОВ, В. Т. (2009): *Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела*. М.

Людмила Столбовая

Россия, Санкт-Петербург

## ЭТНОЯЗЫКОВОЕ КОДИРОВАНИЕ СМЫСЛА В СЕМАНТИКЕ РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ИДИОМАТИКИ.

### АБСТРАКТ:

This paper deals with the corpus of idioms used in Russian and English with the meaning of “The State of a Human being” to reveal the way of generation and codification of senses and their representation in both linguacultures. The paper focuses on formation of the cognitive modals, propositions, gestalts and illustrates process of their creation and links among their elements. The cognitive structures are supposed to be divided into cognitive pictures, frames and scripts. They will also be illustrated and discussed.

### KEY WORDS:

Synergy – cognitive science – revealing and codification of sense – concepts – frames – gestalts – scripts – image – core and periphery.

Новые парадигмы лингвистической науки XXI века потребовали пересмотра традиционного подхода к изучению языка. Это выдвинуло на первый план проблемы, связанные с экстраполяцией философских идей синергетики на область языкознания и когнитивистики, и заявило о языке и концептосфере как синергетических системных образованиях. Ученые считают, что обмен информацией происходит между любыми объектами, представляющими *открытые системы*. На наш взгляд, язык относится к подобным системам, в которых «саморазвитие невозможно без обмена со средой, веществом, энергией и информацией» [Режабек 2003: 12]. Все области знания связаны общим когнитивным механизмом – языком, который, являясь одним из основных инструментов постижения мира, вбирает в себя и закрепляет в своих знаках все проявления человеческого духа. Это особенно четко проявляется в идиоматике. Кодирование смысла в семантике ФЕ мы рассматриваем как нелинейный синергетический лингвокогнитивный процесс, являющийся результатом саморазвивающейся и самоорганизующейся лингвокогнитивной системы.

Целью данного исследования является сопоставительное изучение самобытной сущности ФЕ, выявление и кодирование заложенных в них культурных смыслов посредством анализа единого когнитивного пространства – «Состояние человека» в русском и английском языках. К этому разряду ФЕ мы относим: *дойти до последней черты, вылететь в трубу* = *be at the end of one's rope; turn to bag and wallet* в значении – 'быть в безвыходном положении, пойти по миру' и т.п. – (дискомфорт); а также ФЕ: *жить как сыр в масле кататься, купаться в роскоши* = *to fill one's pipe, to roll in the wallow* в значении – 'жить в достатке' и т.п. – (комфорт). Анализируемые ФЕ обладают высокой степенью антропоцентричности, так как отражают человека во всем многообразии его проявлений: внешних (физических), внутренних (морально-психологических) и социальных. Полагая, что структура этнолингвокультурного сознания есть инвариантный образ мира, соотнесенный с особенностями национальной культуры и психологии, мы рассматриваем ее (структуру) в системе трех генетически связанных пространств – когнитивного, лингвистического и культурного, каждое из которых представлено своими единицами. Детерминационная зависимость сознания, языка, культуры и этноса осуществляется посредством значения – консолидирующей оси, связывающей эти четыре ипостаси. Методологической базой данной работы служат следующие постулаты:

а) мыслительные категории неотделимы от языковых категорий, а реальное объяснение функционирования ФЕ можно получить только при обращении к когнитивным структурам;

б) за значениями ФЕ стоят тесно связанные с ними особые когнитивные сущности, для описания которых (в зависимости от цели исследования) используются такие понятия как: «фреймы», «гештальты», «пропозиционные матрицы», «концепты» и т.п.;

в) процесс порождения знаков косвенно-производной номинации является синергетическим процессом, гармонично фиксирующим в себе энергию лингвокреативного мышления. Основываясь на предположении, что пространство, в котором зарождаются и происходят синергетические процессы, является полем для гармонизации мыслительного и языкового кода, попытаемся осмыслить закономерности формирования ФЕ и фразеологического значения (ФЗ) на примере ФЕ: *базарная баба*, смысл которой знаком и понятен носителям русского языка. Положительная характеристика для лексемы *баба* в наивной картине мира русского социума отсутствует, хотя существуют примеры, в которых *баба* выступает в значении лидера: *бой-баба*. В английском языке подобного фразеологического образа нет. Значение слова *баба* в английском языке передается лексемами: *a woman, a wife*, а понятие «базарной бабы» передается лексемой *a fishwife*. The Random House Dictionary of the English Language для данной лексемы выделяет два значения: 1. *a woman who sells fish* – 'женщина, торгующая рыбой'; 2. *a coarse-mannered, vulgar-tongued woman* – 'женщина с грубыми манерами и вульгарным языком' [ME *fiſshwyf*]. Присутствующие в сознании русского и английского народа образы: *базарной бабы* и *a fishwife* как «грубой и вульгарной женщины», на наш взгляд, не случаен. Бли-

зость образов, лежащих в основе ФЕ, обусловлена принадлежностью женщин в обоих языках к определенному социальному слою, культуре, кругу общения и поведения, которые накладывают свои черты на их личность, манеры и язык. Именно в образности кроется национально-культурная специфика смысла обоих ФЕ.

Как же происходит кодирование смысла в семантике ФЕ? Вопрос этот поднимался ни раз в работах зарубежных и отечественных ученых (М. Хардером, Н. Н. Болдыревым, Н. Ф. Алефиренко, А. А. Худяковым и др.). Для ответа на этот вопрос продолжим рассмотрение цепочки ассоциативно-смысловых связей, оказывающих влияние на образование ФЕ на примере ФЕ: *to talk billingsgate* – ‘ругаться, причитать как базарная торговка’. Раскрытие образного стержня данного английского фразеологизма потребует когнитивно-дискурсивной интерпретации. Обратим внимание на то, что *Billingsgate* – название самого большого рыбного рынка в Лондоне. Представим шумное, бойкое место, где осуществляются взаимодействия людей, торгующих рыбой, и тех, кто покупает этот товар: Рынок – (с названием ‘Billingsgate’); множество женщин, торгующих рыбой, (*fishwives* – ‘*women who sell fish*’) и атмосферу шума-гама, присущего рынкам, где не всегда в речи соблюдаются правила хорошего тона представительницами «*coarse-mannered, vulgar-tongued women*». Это создает условия для появления в сознании цепочки концептов: «Рынок» – «Женщины» – «Шум» – «Грубая речь», вводящих нас в особый микромир. Закрепив в себе метафорическую образность и реализуя имплицитные смыслы знаков первичной номинации, эти концепты вступают в новые ассоциативно-смысловые отношения. Происходит утрата одних смысловых элементов (фактов первичной номинации, к примеру, «название рынка», «женщины, торгующей рыбой») и расширение денотативного поля других. В сознании соединяются культурно маркированные концепты ‘Market’ (как символ шума и беспорядка) и ‘Fishwife’ (как символ женщины конфликтного поведения), которые в сочетании с мотивирующим глаголом – *to talk* приводят к возникновению новых образов и закреплению за ФЕ *to talk billingsgate* смысла ‘ругаться как базарная торговка’.

Полагая, что начальным продуктом концептуализации любых единиц является *ментальная модель*, можно утверждать, что именно она является тем когнитивным, неязыковым конструктом, в которой содержится все необходимое для осуществления акта коммуникации. В ментальной модели содержится особым образом структурированные системы знаний, составляющие основу, «рамки» нашей языковой способности и речевого поведения. Она находит свое отражение как в прямо номинативных знаках, так и в знаках косвенно-производной номинации. Модель несет в себе зародыш идеи – концепт.<sup>1</sup> В. Н. Телия считает, что «концепт – это всегда знание, структурированное во фрейме, а это значит, что он отражает не просто существенные признаки объекта, а все те, которые в данном языковом коллективе заполняются знанием о сущности» [Телия 1996: 94].

<sup>1</sup> Мы рассматриваем концепт как единицу человеческого сознания, отражающую фрагмент концептуальной картины мира в процессе взаимодействия человека с окружающей его средой.

Концепт составляет ядро ФЗ, то есть принадлежит к категории языковой семантики, поэтому ментальную модель можно считать ментальной репрезентацией семантики ФЕ. Основой лингвокультурного концепта обычно выступает ассоциативный компонент в форме образно-метафорических коннотаций, либо в виде прецедентных связей. Включаясь в «вертикальный контекст», ассоциативный компонент формирует прецедентные свойства лингвокультурного концепта, а также его способность ассоциироваться с вербальными, символическими, либо событийными феноменами, известными всем членам этнокультурного социума.

Вслед за Н. Ф. Алефиренко, мы рассматриваем фразеологическое значение (ФЗ) как полевую организацию, в которой понятийно-логическое ядро соотносится с *концептом*, а фрейм является *периферией*, представляющей собой (источник – событие – следствие) конкретную коммуникативную ситуацию [Алефиренко 2008: 84].

Попытаемся построить ментальные модели ФЕ: *вылететь в трубу* в значении ‘разориться’, *дело табак* в значении ‘положение дел из рук вон плохо’ в русском языке и ФЕ: *be in great straits, be at a low ebb, be in deep water* в значении – ‘находиться в беде’, ‘быть в затруднительном положении’ – в английском. Косвенно-производная природа фразеологической номинации позволяет выделять в когнитивных структурах данных ФЕ яркие *этимологические образы* (трубы, табака, пролива и отлива, глубоководья) и *живые образы* – представления, возникающие в результате современного восприятия и понимания данных ФЕ. Этимологический образ, возникающий в результате соотнесения его со свободно-синтаксическим генотипом, будет носить субъективный характер. Формирование живого образа будет продолжаться длительный временной период и характеризоваться «шлифованием» ментальной модели. На начальном этапе формирования дискурсивного смысла ФЕ, вероятно, создается расплывчатый образ – гештальт, который отражает содержательную сущность ментальной модели: «при определенных неблагоприятных условиях – положение дел ухудшается». «Ухудшение дел» может быть вызвано разными стереотипными денотативными ситуациями: «проигрался в карты» (смысл 1), «спился» (смысл 2) и т.п. Вторичные десигнаты формируют семантическую структуру ФЕ. Они являются первоначальным этапом осмысления и конструирования ментальной модели. Немаловажную роль при этом играет образность, которая фокусирует в себе энергетику языковой и когнитивной семантики. Она принадлежит к антропоцентрической сфере языка. Это позволяет заключить, что образность синергетична, поскольку она возникает в результате слияния двух энергий: лингвокреативной особенностью человеческой психики и экстралингвистическими факторами человеческого познания.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- АЛЕФИРЕНКО, Н. Ф. (2008): *Фразеология и когнитивистика в аспекте лингвистического постмодернизма*. Монография. Белгород.
- РЕЖАБЕК, Е. Я. (2003): *Мифомышление*. Когнитивный анализ. М.
- ТЕЛИЯ, В. Н. (1996): *Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты*. In: *Школа «Языки русской культуры»*. М.

ЗДЕНЬКА ВЫХОДИЛОВА

*Чехия, Оломоуц*

## **ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДИМОСТИ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ**

**ABSTRACT:**

The author evolving the main topic of the Section on Translatology of the conference “Days of Russian Scholars in Olomouc” presents in her paper a synoptic overview about development of understanding problems of translatability in the Russian translatology. She especially focuses on the period between 18<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> century when opinions of these problems were formed under the influence of two different concepts: the concept of absolute untranslatability (having its roots in the Humboldtian perception of language as representation of “genius of the nation”), and the concept of full translatability. By interpreting opinions of prominent Russian theorists of translatology of the mid to late 20<sup>th</sup> century period the author exemplifies that in the today’s Russian translatology the concept of relative (partial) translatability has prevailed, based on interpreting translation as a particular kind of communication beeing regularly accompanied by minor or major loss of information.

**KEY WORDS:**

Translatability – untranslatability – interpretationability – equivalency.

**Мотто:**

«При переводе следует добираться до непереводаемого,  
только тогда можно по-настоящему познать чужой народ, чужой язык.»  
Гёте

Лейтмотив транслатологической секции XX Оломоуцких дней русистов «Феномен непереводаемости – проблема или псевдопроблема современной теории перевода?» предопределил основную цель работы секции: выявить и уточнить некоторые спорные моменты, связанные с проблемой переводаемости и попытаться выяснить, насколько эта «вечная» тема жива и актуальна и в наши дни.

Предметом настоящей статьи является краткое обобщение взглядов на данную проблематику в истории российского переводоведения, а именно – с 18-го до конца XX века<sup>1</sup>.

Отношение к сущности перевода в европейской, в том числе и российской, практике и теории перевода с древних времен по начало двадцатого столетия осцилирует вокруг двух крайних исходных позиций: 1) сведение цели «правильного» перевода к как можно точной передаче языковой формы, к дословному воспроизведению языка оригинала, не принимая во внимание точность смысла передаваемого текста, и 2) подход, основанный на стремлении отразить дух, смысл подлинника и соблюсти требования своего языка.

В России решение этого вопроса имеет свои корни в борьбе двух противостоящих подходов к переводу: старшего, репрезентированного тенденцией к так наз. буквализму, и младшего, воплощенного в тенденции к свободному переводу.

### **XVIII век<sup>2</sup>**

18-ый век представляет собой огромный перелом также в области мышления о переводе. В связи с известными общественно-политическими изменениями петровского времени возникает потребность освоить и большой материал иноязычных книг, на первый план выдвигается мирская литература; обращение к светскому переводу приводит к появлению нового подхода к методу перевода, который пропагандировался самим Петром I. К языку перевода предъявляется требование ясности, понятности, а сам перевод – это должна быть «такая передача подлинника, которая предполагала бы полное и правильное понимание его переводчиком и обеспечивала бы читателю исчерпывающее представление о предмете. ... Встает вопрос о том, как передавать по-русски новые, впервые встречающиеся понятия, для которых в русском языке пока еще не имеется точного обозначения» [РПП 1960: 7] Хотя рассуждения о разнообразных вопросах теории перевода в то время еще эксплицитно не затрагивали мысли о проблеме (не)переводимости, из высказываний о собственных переводческих опытах русских писателей вытекает, что их авторы все переводческие задачи рассматривают как реально разрешимые и формулируют их как творческие (ср. известные слова Тредиаковского: «Переводчик от творца только именем рознится»). Кроме того, в России, как и в других европейских литературах того времени, встречаются переводы, полностью приспособляющие подлинники к требованиям эстетики эпохи, к нормам классицизма.

### **XIX век**

Первая половина XIX века – это эпоха распространения **теории непереводимости** – в своей основе философской концепции, принципы которой

1 Хотя и Киевская, и Московская Русь имели богатую переводную письменность, теоретических суждений этих времен о переводе не сохранилось (вернее - практика предшествовала появлению теории). Поэтому историю взглядов на переводимость в России мы начинаем только с XVIII века.

2 Материал к этому периоду мы черпали из антологии «Русские писатели о переводе (XVIII – XIX вв.)», вышедшей под редакцией Ю. Д. Левина и А. В. Федорова в 1960 г. в Ленинграде и содержащей высказывания русских писателей по вопросам перевода, в том числе и по вопросам (не)переводимости.

наиболее категорично высказал В. фон Гумбольдт в письме А. Шлегелю от 23 июля 1796. Напомним известный, часто цитируемый отрывок из этого письма: «Всякий перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь либо подлинника за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только трудно достижимо, но и просто невозможно» (цит. по [Федоров 2002: 42]).

Ключевыми понятиями в концепции Гумбольдта являются понятия **вкус и язык народа** – причем в тезисе о несовпадении двух разных языков, преувеличивается оценка роли отдельного формального элемента, литературное произведение трактуется как сумма элементов, каждый из которых обладает, якобы, своим самостоятельным значением, и, с другой стороны, здесь имеется мистическое представление о языке как о прямом иррациональном отражении «народного духа», которому не могут быть найдены соответствия в другом языке.

Еще более эксплицитно крайний пессимизм по отношению к результату переводческой деятельности воплощен в афоризме немецкого филолога-классика середины 19-го в. М. Гаупта: «Перевод – это смерть понимания» (цит. по [Федоров 2002: 43]).

Убежденными сторонниками идеи о непереводемости поэзии были поэты-символисты. Данная мысль основана на убеждении о неспособности слова выразить состояние человека, его переживания и мысли (ср. утверждение Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь ...»). Следовательно, адекватный перевод поэзии неосуществим, поэзия непереводема: «Передать создание поэта с одного языка на другой невозможно; но невозможно и отказаться от этой мечты». В. Брюсов: Фиалки в тигеле (см. в [РПП 1960: 536]).

Однако, можно все-таки констатировать, что концепция непереводемости никогда не могла стать господствующей в теории перевода, так как ее принципы противостоят самой сущности перевода<sup>3</sup>.

В XIX веке вопросы переводимости в России решаются через призму так наз. «верности подлиннику». Буквалисты под верностью подлиннику понимали, кроме переноса содержания, также максимально точный перенос специфических характерных формальных черт языкового выражения. Самыми выразительными представителями этого подхода в пушкинское время были П. А. Вяземский и А. А. Фет. Вяземский в своем переводе «Крымских сонетов» Мицкевича описывает свой переводческий метод следующим образом:

«... Мы в переводе своем А. Мицкевича не искали красоты (élégance) и дожили более верностью и близостью списка. Стараясь переводить как можно буквальнее, следовали мы двум побуждениям: во-первых, хотели показать сходство языков польского с русским, и часто переносили не только слово

<sup>3</sup> Ср. также, напр., парадоксальное название известной монографии болгарских теоретиков перевода С. Влахова и С. Флорина: «Непереводимое в переводе». **Непереводимое** – то есть то, что не может быть переведено на другой язык, оказывается **в переводе**, то есть все-таки переводится.

в слово, но и самое слово польское, когда отыскивали его в русском языке, хотя и с некоторым изменением, но еще с знаменем родовым ...» [РПП 1960: 130].

Среди русских филологов идеи неогумбольдтианства развивал в первую очередь А. А. Потебня. В статье «*Язык и народность*» (1895)<sup>4</sup> он изложил свою теорию принципиальной невозможности перевода. Следующие отрывки и без комментариев достаточно показательны; «Если слово одного языка не покрывает слова другого, то тем менее могут покрывать друг друга комбинации слов, картины, чувства, возбуждаемые речью; соль их исчезает при переводе; остроты не переводимы. Даже мысль, оторванная от связи с словесным выражением, не покрывает мысли подлинника» [Потебня 1895: 263]; «Ребенок, говорящий: к родителям и гувернантке и (тайком) «хлебца» к прислуге, имеет два разных понятия о хлебе» [Потебня 1895: там же]. «Впрочем, то, что перевод с одного языка на другой есть не передача той же мысли, а возбуждение другой, отличной, применяется не только к самостоятельным языкам, но и к наречиям одного и того же языка, имеющим чрезвычайно много общего» [Потебня 1895: 265]. «Рассматривая языки как глубоко различные системы приемов мышления, мы можем ожидать от предполагаемой в будущем замены различия языков одним общечеловеческим лишь понижения уровня мысли» [Потебня 1895: 259]. Приведенной мысли противоречит весьма оптимистическая, положительная оценка исторической роли перевода, высказанная автором несколькими страницами ниже:

«Возвращаясь к влиянию иностранных языков, мы видим, что если бы знание их и переводы с них были во всяком случае нивелирующим средством, то были бы невозможны ни переводчики, сильные в своем языке, ни переводы, образцовые по своеобразности и художественности языка. Между тем известны переводы, между прочим, книг Священного писания, по упомянутым свойствам и влиянию на самостоятельное развитие литературы превосходящие многие оригинальные произведения. Даже в школе переводы с иностранных языков на отечественный при соблюдении некоторых условий оказываются могущественным средством укрепления учащихся в преданиях отечественного языка и возбуждения самостоятельного творчества на этом языке» [Потебня 1895: 266].

## XX век

Не все видные российские теоретики перевода 20-го века высказали свое отношение к вопросу (не)переводимости в эксплицитно сформулированных концепциях; следовательно, наш выбор авторов ограничивается этим критерием.

Основоположник и глава так наз. Ленинградской школы теории перевода, **А. В. Федоров**, считался сторонником относительно полной переводимо-

<sup>4</sup> Статья А. А. Потебни «*Язык и народность*» была впервые опубликована в журнале «*Вестник Европы*» в 1895 г. После этого статья публиковалась в книге «*Из записок по теории словесности*» (1905 г.), а также в качестве приложения к третьему изданию книги «*Мысль и язык*» (1913). В настоящей статье мы опираемся на антологию «*Эстетика и поэтика*», изданную в Москве в 1976 г.

сти. («Каждый высокоразвитый язык является средством достаточно могущественным для того, чтобы передать содержание, выраженное на другом языке в его единстве с формой» [Федоров 2002: 167]. Его подход подчеркивает комплексность факторов, влияющих на переводимость («то, что невозможно в отношении отдельного элемента, возможно в отношении сложного целого - на основе выявления и передачи смысловых и художественных функций отдельных единиц, ...»). Иначе говоря, то, что не передается, можно компенсировать при помощи других средств или это несущественно для передачи подлинника как единого целого. Понятие «переводимости» Федоровым относится всегда к тексту как к целому, а не к его отдельным компонентам. Но, с другой стороны, точная передача отдельного может играть существенную роль в переводе целого. Ключевыми терминами концепции переводимости А. В. Федорова являются термины «адекватность» и его русский синоним «полноценность», которые в применении к переводу автором интерпретируются как 1) соответствие подлинника по функции (полноценность передачи) и 2) оправданность выбора средств в переводе.

На рубеже 50-х и 60-х годов нашу проблематику подвергли относительно глубокому анализу представители лингвистической теории перевода **И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг**<sup>5</sup>. Их изложение проблемы (не)переводимости основано на обширной полемике с гипотезами представителей неогумбольдтианской философии Сепира и Уорфа о соотношении языка и мышления и выводимыми из них заключениями относительно непереводимости. Ревзин и Розенцвейг наглядно показывают преувеличение у Сепира – Уорфа роли различий в системах категорий разных языков. «Нет основания отрицать полностью мысль о непереводимости. Нет переводчика, который в своей практической деятельности не наталкивался бы на явления, не поддающиеся переводу. Да и теоретически ясно, что существуют такие категории языка, между которыми соответствия установить нельзя, а следовательно, нельзя и сохранить инвариантность смысла. Важно, однако, уточнить, какие категории языка имеются в виду, когда говорят о непереводимости» (Ревзин – Розенцвейг 1964: 70).

В семантической классификации языковых категорий (формальная классификация не принимается во внимание) авторы выделяют а) семантически полные категории, т.е. те, которые несут экстралингвистическую информацию (напр., число, определенность и неопределенность существительных, вид и модальность, время глаголов), и б) семантически пустые категории, т.е. те, которые несут чисто лингвистическую информацию (напр., род существительных, род, число и лицо глагола, все категории прилагательных, кроме степеней сравнения). Проблема переводимости касается лишь семантически полных категорий, так как при переводе необходимо сохранить инвариант смысла. Семан-

5 Известное учебное пособие «*Основы общего и машинного перевода*», изданное в Москве в 1963 и 1964 гг., в котором его авторы подробно обсуждают вопрос переводимости, возникло на основе лекций, прочитанных на факультете переводчиков Первого московского государственного педагогического института иностранных языков.

тически пустые категории нерелевантны для перевода. По отношению к соответствующей ситуации и по разному членению действительности авторы подразделяют семантически полные категории на несколько групп, причем к непереводаемости относят лишь такие случаи, когда такие категории по-разному членят действительность, вследствие чего одна и та же ситуация может быть описана в разных языках с применением разных категорий, имеющих неодинаковый смысл (ср., напр., соотношение русского «ты», «Вы» и английского «you»). Однако, в подобных случаях «помогает» контекст и конситуация.

По аналогии к дихотомии «переводимость» – «непереводимость» авторы работают с терминами «интерпретируемость» – «неинтерпретируемость». Случаи «непереводимости» относятся только к одному из видов реализации процесса перевода, к так наз. собственно переводу; в случае применения второго вида – интерпретации, инвариант информации всегда может быть сохранен: «Признавая со сделанными выше оговорками, непереводаемость, ... мы принципиально отвергаем неинтерпретируемость, которая, по-видимому, также предполагается гипотезой Сепира – Уорфа. При обращении к референту можно установить соответствия и при разном членении действительности, что показывается не только практикой перевода, но и практикой языковых контактов» [Ревзин – Розенцвейг 1964: 75].

**А. Д. Швейцер** в своем основном произведении 1988 года «*Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты*» рассматривает вопросы, связанные с переводаемостью, через призму проблематики эквивалентности и адекватности перевода. Исходным пунктом его концепции переводаемости следует считать созданную им на основе классификации В. Г. Гака классификацию видов переводческой эквивалентности (см. [Швейцер 1988: 76 и след.]). В дальнейшем автор на богатом переводном языковом материале демонстрирует разные области непереводаемого и разные трактовки (не) переводаемости российских и зарубежных теоретиков перевода (в частности В. Г. Гака, Дж. Кэтфорда, С. Влахова и С. Флорина и других исследователей). За гранью переводаемого, по его мнению, находятся те ассоциации словесных образов, которые играют важную роль в языке художественной литературы.

На основе своей концепции переводческой эквивалентности подходит к решению проблемы переводаемости и **Л. К. Латышев** (1981). Переводаемость он считает не абсолютной, а статистической категорией – в его понимании это значит, что любой текст в целом принципиально переводим, но в нем могут оказаться некоторые элементы, которые не могут быть полностью воспроизведены в переводе. Эффективность общения в процессе перевода может снижать лингвотнический барьер, но это не дает основания говорить о невозможности перевода.

Основоположник и крупнейший представитель Московской школы теории перевода **В. Н. Комиссаров**, критически анализируя концепции и взгляды на проблематику переводаемости многих русских и зарубежных авторов, одновременно профилирует свое отношение к данной теме. Понимая перевод как процесс коммуникации, Комиссаров допускает, что в нем всегда возможна не-

которая потеря информации. Проблему переводимости он излагает в тесной связи с выдвинутой им оригинальной концепцией уровней эквивалентности.

К сторонникам теории полной переводимости принадлежит **Л. С. Бархударов**. К данному вопросу он эксплицитно высказывается лишь в первой главе своей книги *«Язык и перевод»*: «Итак, нам остается сделать вывод: поскольку противопоставление языков «развитых» и «неразвитых» научно несостоятельно, постольку выдвинутый нами принцип принципиальной возможности перевода («переводимости») на основе передачи значений, выраженных на одном языке, средствами другого языка, не знает ограничений и применим по отношению **между любыми двумя языками**» [Бархударов 1975: 25–26]. Приведенная цитата затрагивает также социологическую сторону вопроса, а именно, степень развития определенного народа и его языка.

Авторы одного из новейших учебников теории перевода **В. В. Сдобников** и **О. В. Петрова** (2007), подытоживая взгляды на проблему переводимости в отечественной и зарубежной теориях перевода, уделяют особое внимание рассмотрению отдельных факторов, препятствующих полной переводимости, вместе с предложением способов преодоления этих препятствий. В качестве препятствующих лингвистических факторов приводятся: 1) неодинаковая категоризация действительности разными языками; 2) существование так наз. этнографических лакун; 3) ориентация текста на использование специфических особенностей низших уровней данного языка; 4) придание диалектам ИЯ, которым нет соответствий в ПЯ, стилистической значимости в художественном тексте; 5) установка автора оригинала на формалистические трюки и заумь; 6) использование в тексте игры слов; 7) употребление в тексте варваризмов. Особо подчеркивается роль контекста в преодолении семантических расхождений и способы перевода слов-реалий. Авторы приходят к выводу, «что используя один из приемов перевода безэквивалентной лексики, всегда можно передать в переводе значение слова-реалии, его понятийное содержание. Сложнее обстоит дело с воспроизведением в переводе национального колорита, который создается в оригинале за счет употребления слова-реалии, и всех коннотативных ассоциаций, связанных с использованием этого слова» [Сдобников – Петрова 2007: 126–127].

### **Выводы и заключения**

Взгляды на проблему переводимости формировались в России в течение последних двух столетий под влиянием двух противоположных концепций, основанных на философской основе: **концепции полной непереводимости**, с одной стороны, и **концепции полной переводимости**, с другой стороны. Представители первой настаивали на уникальности своеобразия духа народа (В. Фон Гумбольдт и его последователи – представители неогумбольдтианской философии перевода, в частности, Л. Вейсгербер, Э. Сепир и Б. Уорф, в русской лингвистике – А. А. Потебня). Представители второй концепции исходили из принципа существования единой, универсальной действительности, которая, упрощенно говоря, воспринимается всеми народами более или

менее тождественно и, следовательно, во всех языках выражается более-менее одинаково (В. Коллер, Л. С. Бархударов).

Несмотря на то, что каждый крайний взгляд на любую проблематику, как правило, далек от истины, в данной области сама ежедневная переводческая практика приносит свидетельства об относительности той и другой крайней точек зрения.

Следовательно, с течением времени эти экстремальные концепции теряют своих сторонников в пользу **концепции относительной (неполной, ограниченной) переводимости**. Ее представители исходят из аксиомы, что перевод – это специфический вид коммуникации и надо учитывать, что при любой коммуникации происходит некоторая потеря информации. Сказано словами Ю. Найды: «Потеря информации является частью любого процесса коммуникации и, таким образом, потери некоторой части информации при переводе не должны удивлять и не должны служить основанием для сомнений в возможности перевода» (Е. А. Nida, цит. по [Сдобников – Петрова 2007: 120]).

Участники оломоуцкой конференции на основании аргументов в обширных дискуссиях и признанных всеми положений пришли к общему выводу, что первый шаг к успешному решению проблемы на теоретическом уровне заключается в как можно более **комплексном подходе к исследованию процесса перевода и его результатов**.

Важнейшими факторами, которые релевантны в оценке «переводимости» текста, являются следующие:

**А. Внутрilingвистические аспекты**

1. Характер самого переводимого текста
2. Объем переводной единицы
3. Степень генетического и типологического родства ИЯ и ПЯ.

**Б. Внелингвистические аспекты**

1. Социологические и культурно-общественные факторы, лёгшие в основу так наз. особенностей языкового менталитета
2. Ступень экономического, политического и социокультурного развития народа на данном историческом отрезке.
3. Степень межэтнических контактов
4. Степень профессионального мастерства переводчика

Вышесказанное имеет прямое отношение к разным методологическим принципам подхода к исследованию процесса перевода и его результатов, в частности, и к проблематике непереводимости.

Следовательно, ответ автора настоящей статьи на вопрос, существует ли непереводимое в переводе, в интенциях разделяемой ею концепции относительной переводимости звучит следующим образом:

**Перевести можно все, но с большими или меньшими потерями.** Задача переводчика состоит в том, чтобы минимализовать эти потери.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

- БАРХУДАРОВ, Л. С. (1975): *Язык и перевод*. Москва: Международные отношения.
- ВЛАХОВ, С., ФЛОРИН, С. (1980): *Непереводимое в переводе*. Москва: Международные отношения.
- КОМИССАРОВ, В. Н. (1990): *Теория перевода. Лингвистические аспекты*. Москва: Высшая школа.
- КОМИССАРОВ, В. Н. (1999): *Современное переводоведение*. Москва: Издательство ЭТС.
- КОМИССАРОВ, В. Н. (2000): *Общая теория перевода*. Москва: ЧеРо.
- КОМИССАРОВ, В. Н. (2002): *Лингвистическое переводоведение в России*. Москва, ЭТС.
- ЛАТЫШЕВ, Л. К. (1981): *Курс перевода. Эквивалентность перевода и способы ее достижения*. Москва: Международные отношения.
- Новое в лингвистике I* (1960): Москва: Издательство иностранной литературы.
- ПОТЕБНЯ, А. А. (1976): *Эстетика и поэтика*. Москва: Искусство.
- РЕВЗИН, И. И., РОЗЕНЦВЕЙГ, В. Ю. (1964): *Основы общего и машинного перевода*. Москва: Высшая школа.
- РЕЦКЕР, Я (1974): *Теория перевода и переводческая практика*. Москва: Международные отношения. (РПП 1960) *Русские писатели о переводе. (XVIII – XX вв.)*. (1960) /РПП/: Ленинград: Советский писатель.
- СДОБНИКОВ, В. В., ПЕТРОВА, О. В.: (2007): *Теория перевода*. Москва: Восток – Запад.
- ШВЕЙЦЕР, А. Д. (1988): *Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты*. Москва: Наука.
- ФЕДОРОВ, А. В. (1958): *Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы)*. Москва: Издательство литературы на иностранных языках.
- ФЕДОРОВ, А. В. (2002): *Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы*. Москва – Санкт-Петербург: ИД Филология три – Филологический факультет СПбГУ.



АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА ЗЛОЧЕВСКАЯ

*Россия, Москва*

## ФАУСТОВСКАЯ ТЕМА В ТРАГИЧЕСКОМ ФАРСЕ М. П. АРЦЫБАШЕВА «ДЬЯВОЛ»

**ABSTRACT:**

In the tragic farce "The Devil" by M. P. Artsybashev the history of humanity is interpreted in the mystic-religious key and it is extremely pessimistic. The tence intertextuality of the play helps achieve the effect of problems of globality. The dominant role is played by the legend about Doctor Faust, chiefly in Goethe's interpretation.

**KEY WORD:**

M. P. Artsybashev – "The Devil" – Doctor Faust – Goethe.

Написанный М. П. Арцыбашевым в эмиграции в 1925 г. трагический фарс «Дьявол» в течение многих лет и с огромным успехом шел на подмостках театров Варшавы. Факт, если вдуматься, удивительный. Ибо чем так привлекателен для несчастных русских «в рассеянии сущих», одержимых сугубо злободневными заботами и проблемами, показался этот абстрактно-вневременной вихрь аллегорий и масок, кружащих перед ним на сцене? Что, казалось бы, им Гекуба?

Разгадка в том, что трагедия современного человека увидена и осмыслена автором сквозь призму вечных проблем человеческого духа.

Текст «Дьявола» представляет собой сложное сплетение разнообразных аллегорий, цитаций и парафраз из мировой, в том числе русской литературы. Это и «Каменный гость» А. С. Пушкина, и произведения Ф. М. Достоевского («Легенда о Великом Инквизиторе» и рассуждения Ивана Карамазова из «Братьев Карамазовых», а также размышления о праве человека на самоубийство Кириллова из «Бесов» и героя эссе «Приговор» из «Дневника писателя»), и аллегорическая трагедия Л. Андреева «Анатэма» и др. Мир предстает здесь как грандиозный дьявольский театр, в котором участвует множество аллегорических масок (1-й, 2-й и 3-й Социалисты, Дама, Писатель, Поэт, Актер, Меценат, Танцовщица, Слепой Скрипач, Старый и Молодой Рабочий, 1-й, 2-й и 3-й Члены комитета, Рыцарь, Монах, Маркиз, Маркиза, Философ, Астролог и др.).

Интертекстуальная организация произведения входила в творческий замысел автора. Она позволяла создать глубокую историко-культурную перспективу и тем самым достичь эффекта глобальности в решении поставленных проблем.

Реминисцентный ключ к пьесе – легенда о докторе Фаусте (по преимуществу в интерпретации Гете). Прошлое, настоящее и будущее человечества автор показывает сквозь призму этого вечного мифа – «трагедии, которая от века // Терзает бедный ум и сердце человека» [Арцыбашев 2006: 503].

*Легенда старая, но мысль ее нова [...]  
Услышите вы здесь и старую, как время,  
И вечно юную историю о том,  
Как человек, отчаяньем томимый,  
В бессмысленной борьбе с судьбой неумолимой  
Не видя выхода и счастья нигде,  
Запродал душу Сатане*  
[Арцыбашев 2006: 501–502].

По «ветхой канве» легенды о Фаусте М. Арцыбашев пишет собственную версию этого вечного мифа – так, чтобы стала очевидной «связь со злобой наших дней» [Арцыбашев 2006: 503]. Спор за душу человека ведется здесь не между Богом и Дьяволом, а между Дьяволом и одной из, хотя и главной, ипостасей Бога – *Духом любви*. Тем самым уже в «Прологе» проблематике задан не совсем традиционный ракурс. *Дух любви* верит, что, несмотря на все извращенные формы, которые принимает любовь в душах людей, в конце концов «проснется дух любви в косматых их сердцах, // И род людской очнется [...]» [Арцыбашев 2006: 506]. Дьявол же, естественно, убежден в обратном:

*Зло царствует над миром  
Единым вечным властелином [...]  
А голоса любви не слышал я нигде,  
И, кажется, он смолк навеки на земле*  
[Арцыбашев 2006: 507–508].

Уже в «Прологе» сквозь этот вечный, космический спор просвечивает его злободневный аспект. *Дух любви* выражает оптимистическую версию перспектив исторического развития современного мира: люди поймут,

*Что в мире – все любовь! Их разум разовьет  
Идею светлую всеобщего слиянья  
В объятьях братских. Радость созиданья  
Заменит жажду разрушенья, и тогда  
Над миром вновь взойдет прекрасная звезда  
В сиянии радостном свободы и равенства ...*  
[Арцыбашев 2006: 506].

Этот монолог вызывает у зрителя аллюзию на риторику политиков «левого» толка того времени. Так в подтексте возникает вопрос: не присутствуем ли

мы сегодня, в эпоху грандиозных социалистических революционных преобразований, при осуществлении и торжестве вековой светлой мечты человечества о царстве братства, свободы и любви? Соответственно, преобразается и фигура Фауста: у М. Арцыбашева Фауст – вождь революционной борьбы за *равенство, братство и свободу*.

Изменены и исходная ситуация и сам предмет договора между *Фаустом* и *Дьяволом*: *Фауст* М. Арцыбашева *слеп*. *Дух любви* указывает на этого человека, который, несмотря на страшный недуг и полное одиночество, предательство друзей и женщин, продолжает верить в добро и торжество истины. *Дьявол* же уверен, что именно от *слепоты* – его любовь к людям, вера в благородство и величие человека. Если с глаз *Фауста* снять пелену, он, постигнув истинную суть жизни и людей, откажется от своих высоких идеалов, от стремления найти истину, сам придет к *Дьяволу*

*[...] с проклятьем на устах,  
Отвергнув эту жизнь, все растоптав во прах,  
«Забвенья смертного, как воздуха, алкая! ...»  
[Арцыбашев 2006: 535].*

Так мотив несостоявшегося *самоубийства* Фауста, бывший у Гете лишь отправным пунктом дальнейших событий, здесь превращается в *обрамляющий* и обретает ключевое значение. Если в начале пьесы герой протягивал руку к яду не в силах далее переносить личных страданий, но так и не решился на самоубийство, ибо все еще верил в жизнь и человека, то в финале он выпивает яд вполне сознательно, страстно желая уйти из жизни и произнеся роковые слова договора: *«Забвенья смертного, как воздуха, алкая ...»* [Арцыбашев 2006: 678]. К самоубийству Фауста приводит глобальное разочарование в самом миропорядке: *«Здесь пустота и ложь, а там ... а там темно!»* [Арцыбашев 2006: 678].

Изменена (в сравнении с традиционной) и функция Дьявола: он не просто предоставляет герою все блага жизни – он одновременно обнаруживает сущность людей и происходящих событий, скрытую от поверхностно-восторженного взгляда *наивного слепца*. Безобразным оборотнем оказывается в конце концов и революционная борьба за счастье человечества, и роль в ней *Фауста*, который искренне верил в светлые идеалы и цели.

Как и у Гете (а также у Л. Андреева в «Анатэме»), все рушится именно в тот момент, когда герой готов праздновать победу и почтить на лаврах:

*Итак, у цели мы! .. Еще одно усилие  
И в мире нет рабов, позора и насилья! ..  
Все то, о чем мечтал, к чему стремился я,  
Свершилось наконец, и ныне жизнь моя  
Приобрела и смысл, и цель, и оправданье!  
Довольно нищеты, жестокости, страданья!  
Тираны сломлены, окончена борьба,  
И счастье новое дарует нам судьба!..*

*О, человечество, кровавыми волнами  
Омыло ты свои предвечные грехи,  
И светлая дорога перед нами ...  
[Арцыбашев 2006: 635].*

Но тут приходят *трое Членов Комитета* (очевидна аллюзия на трех первых правителей Советской России: Ленина, Троцкого и Каменева) и доказывают *Фаусту*, что речь идет и с самого начала шла вовсе не о том, чтобы даровать народу *мир, братство и любовь*, а совсем о другом – о бесконечной и яростной борьбе за власть.

*Здесь путь один: террор! ..  
Систематический, кровавый, без пощады! ..  
Для революции врагов не может быть награды  
Иной, как смертный приговор!..  
В крови мы затопить должны сопротивление,  
Дух своеволия в них вытравив дотла,  
Чтоб подавить навек возможность возмущенья,  
Чтоб даже мысль о нем возникнуть не могла! ..  
Инакомыслящих мы потерпеть не можем!  
С лица земли мы их стереть должны,  
И знайте, если мы их всех не уничтожим,  
На гибель сами мы тогда осуждены!..  
[Арцыбашев 2006: 648].*

Самого *Фауста*, который отказывается принять столь кощунственно извращенное понимание святого дела революции, объявляют врагом и собираются арестовать. От этой участи его спасает только заступничество самого *Дьявола*. И тогда выясняется самое страшное: сам *Дьявол*, о какой-либо причастности которого к победе революции *Фауст* и мысли не мог допустить, оказывается настоящим ее главой, вождем и вдохновителем. Оказывается, именно *Дьявол* «*Постановлением Верховного Совета [...] председателем назначен Комитета*» [Арцыбашев 2006: 651]. Замечательно, что остальных членов *Комитета* это ничуть не смущает:

*[...] Так это – Дьявол? .. Верно?  
Что ж, ежели служить он будет нам примерно,  
Тем лучше! .. Мы бежим от предрассудка уз  
И даже с Дьяволом готовы на союз,  
Когда потребует святое наше дело!  
[Арцыбашев 2006: 651].*

В определенном смысле это можно считать ответом А. Блоку, который, как известно, в финале «Двенадцати» во главе отряда красноармейцев поставил Христа «с кровавым флагом». М. Арцыбашев словно говорит: революция в России – это отнюдь не осуществление вековой светлой мечты человечества о наступлении царства любви, добра и справедливости, обещанного Христом,

напротив, революция есть дело Дьявола, а *Исус* «с кровавым флагом» – не что иное, как бесовский оборотень.

В финале оправдываются прозвучавшее в «Прологе» предсказание *Дьявола*: «мировой пожар» социалистических революций, охвативший современный мир, не более чем очередное повторение тезиса: «*Вы будете, как боги!*» [Арцыбашев 2006: 506]. Тезиса, которым дьявол от века искушал человека.

Но Зло торжествует у М. Арцыбашева не только в сфере общественной жизни – оно побеждает везде и всюду. Не только нежная, любящая и кроткая *Маргарита* оказывается похотливой самкой – в людях неизменно побеждает низменное начало: похоть, разврат, продажность, насилие, властолюбие и ложь. Все возвышенное и прекрасное – лишь лицемерие и гнусный обман. Не случайно гимн современной цивилизации, который звучит в сцене «Маскарада» из уст современного ученого, *Астролога* («*В мире нет сильнее власти, // Как мечта об общем счастье [...]*» [Арцыбашев 2006: 620–622]), – не что иное, как перифраза знаменитой арии Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст». Но если древний Мефистофель пел гимн злату, то представитель современной науки – культуре и цивилизации.

Поле битвы в итоге остается за *Дьяволом*. Вся жизнь человеческая – «дикий фарс», как и было сказано еще в «Прологе»:

*Бессмысленна, нелепа, безобразна,  
Полна жестокости, поистине ужасна –  
Вся наша жизнь!.. Идет за веком век,  
Но все по-прежнему бедняга человек  
В борьбе за истину бессилён остается  
И от религии к политике мятется,  
Ища спасенья в них ... О, Боже, сколько раз  
Они, как сон пустой, обманывали нас! ..  
Все тот же мрак кругом ... Сознание бессилья  
Подрезывает нам сияющие крылья  
Порыва страстного восторженной мечты  
К той жизни, - полной красоты,  
Добра, могущества, свободы, наслажденья, –  
О коей грезим мы от самого рожденья! ..  
Усилям нет числа, и жертвам нет имен,  
Но длится без конца все тот же страшный сон ...  
Уже мы падаем, в борьбе изнемогая,  
Но также далеки врата земного рая!..  
[Арцыбашев 2006: 502].*

Мрачный философский итог пьесы находит свое символическое воплощение в эффектном сценическом решении: сначала, в «Прологе», рядом с сиянием *одинокой звезды* и *тихой нежной музыкой*, которые окружают *Духа любви*, возникает *глухой, как бы подземный рокот* и *красный свет*, сопутствующие *Дьяволу*; затем на протяжении пьесы *свет звезды* несколько раз побеж-

дает, прогоняя *красный свет*, но в финальной ремарке автора сказано: «*Закрыв лицо руками, медленно удаляется Дух любви, опускаясь во тьму. Красный свет озаряет фигуру Дьявола, который стоит, хищно простирая руки над миром и гордо поднимая безобразную голову*» [Арцыбашев 2006: 682].

Осмысление современности достигает предельного мистико-религиозного обобщения. Вывод М. П. Арцыбашева крайне пессимистичен: современный момент в развитии общества, действительно, стал поворотным в истории человечества, но вместо чаемого людьми торжества светлых идеалов, после кульминации надежд наступила окончательная победа мирового Зла над мировым Добром, причем на сакральном, трансцендентном уровне и в масштабе всего мироздания. В извечной борьбе Бога с Дьяволом окончательно победил последний. Столь безапелляционно мрачного финала в решении глобальных проблем космического миропорядка мировая литература не знала.

«*Я покинул родину потому, – объяснял М. Арцыбашев свою жизненную и политическую позицию в «Записках писателя», – что она перестала быть той Россией, которую я любил [...] в ней воцарилось голое насилие, задавившее всякую свободу мысли и слова, превратившее весь русский народ в бессловесных рабов*» [Арцыбашев 2006: 361]. Свое разочарование в русском обществе, в русском народе писатель перенес на все человечество и самое мироздание.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:**

АРЦЫБАШЕВ, М. П. (2006): *Записки писателя. Дьявол*. М.

**Eva Maria Hrdinová, Vítězslav Vilímek a kol.: Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe?! Spisy Ostravské univerzity č. 187/2008. Ostravská univerzita. Ostrava 2008. ISBN 978-80-7368-589-8 (101 stran)**

Kolektivní monografie českých a slovenských autorů (většinou mladých absolventů či studentů doktorského studia) se pokouší přinést studentům tlumočení na filologických oborech Filozofické fakulty Ostravské univerzity komplexní a souvislý vstup do problematiky tlumočení a má ambice zaujmout i vyučující dané disciplíny. Potvrzuje se tak stále aktivnější pozice Filozofické fakulty Ostravské univerzity na poli české translologie – na této instituci nedávno vznikly i jiné publikace v oboru (např. E. Gromová, M. Hrdlička, V. Vilímek: *Antologie teorie odborného překladu. /Výběr z prací českých a slovenských autorů/*. Ostrava 2007) a organizují se zde pro tlumočníky a překladatele celostátní akce (např. pravidelná studentská překladatelská soutěž *Translatologica Ostraviensia*, konference „Den s překladem“, v roce 2009 i překladatelský workshop na téma „Výuka překladu a tlumočení aneb jak na to“). Tento počin potvrzuje i neustálý zájem o aktuální, komplexní a snadno přístupné materiály k problematice tlumočení, kterých u nás samozřejmě není nazbyt.

Celá práce je tvořena deseti kapitolami, z nichž sedm má věcný obsah postupně odkrývající obecná a specifická témata tlumočení, tři poslední kapitoly mají spíše referenční a informativní charakter (Výběrová bibliografie syntetizujících prací z tlumočení; Přehled vysokoškolských pracovišť, institucí a profesionálních organizací zabývajících se tlumočením; Rejstřík).

Stěžejní části celé monografie (sedm po sobě následujících kapitol – 1. Tlumočení jako translační činnost – V. Vilímek, 2. Konsekutivní tlumočení – E. M. Hrdinová, 3. Kognitivní procesy v tlumočení – S. Rábeková, 4. Principy tlumočnické notace – V. Vilímek, 5. Sprievodcovské tlmočenie – L. Harviľáková, 6. Simultánní tlumočení – E. M. Hrdinová, 7. K syntaktickým transpozicím při tlumočení – J. Šabršula) postupují od obecných principů tohoto typu translace k jevům dílčím či specifickým. Podává se přehled základních koncepcí a přístupů k teorii tlumočení, na konci kapitol se pravidelně uvádí základní odborná literatura. Bohužel na sebe ale obecné a dílčí kapitoly nereflktují – dochází k překrývání definic, k užití jiných koncepcí v dílčích kapitolách (srov. koncepce tří fází procesu tlumočení podle I. Čeňkové v 1. kapitole a koncepce dvou fází tohoto procesu ve 2. kapitole). I když je monografie určena

---

především pro studenty různých filologických oborů, vyskytuje se v kapitolách různá míra odbornosti vyjadřování – od volnějšího přehledu koncepcí s nadlehčeným pohledem či zamyšlením k precizní odborné argumentaci jednoho jevu. Metoda kolektivní spolupráce zde tedy prokazuje své výhody (různost pohledu, širší záběr) i svá úskalí (nepropojenost a nevyváženost jednotlivých kapitol).

Za inspirativní lze v práci považovat především kapitolu o kognitivních aspektech v tlumočení, ve které se převáděný text konečně chápe jako ucelený text s vnitřní obsahovou strukturou, která si při recepci, translaci i produkci žádá nejen jazykové transformace, ale především jistou znalost automatizovaných i neautomatizovaných kognitivních operací. Velmi užitečné jsou i rady pro nácvik dílčích kognitivních dovedností (např. koncentrace, rozdělení pozornosti, paměť, rychlost reakcí a verbální plynulost). Dále si získá čtenářovu pozornost i kapitola o tlumočnické notaci, která je psána s nadhledem i s přímými zkušenostmi autora z tlumočnické praxe. Bohužel v celé práci postrádám vhodnou ukázkou tlumočnické práce s celým textem. V kapitolách věnovaných konsekutivnímu a simultánnímu tlumočení jsou vzorové texty ve výchozím jazyce uvedeny i s minimalistickým komentářem, ten se ale týká jen vybraných jazykových jevů (např. práce s idiomy). Představa o tlumočení jako komplexní práci s textovým útvarem v cizím jazyce tak není naplněna. Uváděné příklady tíhnou spíše k práci s jazykem a k jazykovým transformacím, což podle mě není specifikum, které by odlišovalo tlumočení a překlad. Praktické zkušenosti autorů jako tlumočnicků a vyučujících tlumočení se zde zatím podle mého názoru zpracování nedočkaly.

Práci lze považovat za jeden z příspěvků k teorii i praxi tlumočení, který shrnuje dosavadní pohledy na danou problematiku, naznačuje úskalí tlumočnického tréninku a stojí na samotném začátku přípravy tlumočnicka, nepřináší však originální teorii ani didaktický přístup. Materiál není zaměřen na jeden konkrétní jazyk, vyskytují se zde ukázky v němčině, francouzštině i slovenštině. V práci se pamatuje i na vhodný referenční aparát (tj. odkaz na širší bibliografii, profesní organizace).

Autoři této kolektivní monografie uvádějí, že se chtějí ve své práci vypořádat s teorií i praxí tlumočení. Z celé práce však nabývám dojem, že jejich práce mezi Skyllou teorie a Charybdou praxe stále jen nejistě proplová, nemá ujasněná společná východiska a nevykročila ani přímo k praxi. Může být ale na dobré cestě. A celému kolektivu přeji, aby co nejvíce využili možností kolektivní práce i přímých zkušeností z praktického tlumočení a aby o ně svou další cestu opřeli a zdárně v ní pokračovali.

*Jindřiška Kapitánová, Česká republika, Olomouc*

*Rossica Olomucensia* - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii je pokračováním ročenky *Rossica Olomucensia* vydávané olomouckými rusisty od r. 1968. Časopis je recenzovaným periodikem. Vychází dvakrát ročně. Od r. 2009 má i svoji elektronickou verzi.

Uveřejňuje původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou. V tomto smyslu jsou přijímány pouze příspěvky, které nebyly dosud publikovány a nejsou přijaty k publikaci v jiném časopise, což dokládají autoři svým prohlášením.

Obsah časopisu má následující strukturu: vědecké a odborné stati, recenze, zprávy a kronika.

Poskytnuté příspěvky musí respektovat níže uvedené formální pokyny. V případě jejich nedodržení se příspěvky vrací autorům k úpravám a doplněním.

Všechny příspěvky procházejí nezávislým, objektivním, anonymním recenzním řízením.

Příspěvky je možno zasílat během celého roku. Uzávěrka je vždy k poslednímu dni měsíce května a října příslušného roku.

Texty příspěvků zasílejte na adresu:

Rossica Olomucensia, katedra slavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, CZ-771 85.

E-mail: l.voboril@centrum.cz

Soubor v elektronické podobě musí být uložen pod příjmením autora (bez diakritiky, latinkou) s koncovkou .doc nebo rtf (např. novak.rtf, vychodil.doc).

#### **Struktura a úprava příspěvku:**

Jméno autora bez titulů v pořadí – jméno, (jméno po otci), příjmení.

Stát a město, v němž autor příspěvku působí.

Název příspěvku.

Abstrakt v angličtině v rozsahu cca 400 až 600 znaků s mezerami. Uvádí se za slovem Abstract:

Klíčová slova v angličtině – cca 10 – 15 slov, oddělují se pomlčkami. Uvádí se za slovy Key Words:

Text příspěvku – základní text font Times New Roman, vel. 12 pt, řádkování 1,5, zarovnání vlevo, okraje 2,5 (nahore, dole, vlevo i vpravo). Neformátovat – formátování se v převodu do sázecího editoru ruší. Entrem oddělovat pouze odstavce, od-

---

stavce neodrážet ani neoddělovat mezerami. Nestránkovat (stránky vyznačit případně pouze na tištěný text ručně). Mezititulky neoddělovat mezerami.

Celý text a všechny další součásti se píše fontem Times New Roman, vel. 12 pt.

Maximální rozsah **18 000 znaků** včetně mezer (včetně jména, názvu, abstraktu, klíčových slov, vlastního textu, poznámek, seznamu použitých a excerpované literatury).

Klíčová slova v textu (bez uvozovek) a příklady (bez uvozovek) se uvádějí kurzívou. Pro zvýraznění používejte tučné písmo. Podtrhávání není přípustné. Citace se uvádějí uvozovkami („Cituji“, «Цитирую», “Citation”), specifickými pro každý jazyk. Odkazy na citovanou či použitou literaturu se uvádějí v hranatých závorkách s uvedením příjmení autora, roku a čísla strany: [Novák 1997: 65]. Poznámky pod čarou používejte pouze pro doplňující informace, nikoli jako odkaz na literaturu.

**Použitá literatura.** Příklady uvádění jednotlivých titulů (základní formy) v seznamu literatury:

Kniha, monografie, učebnice:

CRYSTAL, D. (2001): *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.

Článek v časopise:

GREGOR, J. (2006): Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického). *Opera slavica XVI*, 2006, č. 4, s. 11–26.

Příspěvek ve sborníku:

JANČÁK, P. (1989): Mluva v severozápadočeském pohraničí. In: F. Daneš – J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krčmová (eds.): *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha: Academia, s. 239–249.

Autoři odpovídají za jazykovou a gramatickou správnost textu. Příspěvky v rozporu s uvedenými pravidly, neschválené recenzním řízením či neodpovídající zásadám etiky nebudou k publikování přijaty.

Text „Pokynů pro autory“ v ruském jazyce je uveřejněn na internetové stránce katedry slavistiky: [www.rusistika.upol.cz](http://www.rusistika.upol.cz) v oddíle Rossica Olomucensia.

Těšíme se na Vaši spolupráci!